



(im)possible spaces



(не)возможные пространства

ВЫПУСК №12 МАРТ 2006
ГАЗЕТА ПЛАТФОРМЫ "ЧТО ДЕЛАТЬ?"

ISSUE №12 MARCH 2006
NEWSPAPER OF THE PLATFORM
"CHTO DELAT/WHAT IS TO BE DONE?"

РАЗГОВОРЫ О ПОСТ-СОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
CONVERSATIONS ABOUT POST-SOVIET SPACE

СЕРГЕЙ СИТАР – ДАВИД РИФФ | ПЕРЕОТКРЫТИЕ ПОСТ-СОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
ЕКАТЕРИНА ДЕГОТЬ – ЕЛЕНА СОРОКИНА | НЕОБЖИТЫЕ ПРОСТРАНСТВА
ДЕМОКРАТИИ /// БОРИС КАГАРЛИЦКИЙ – АЛЕКСЕЙ ПЕНЗИН | СОВЕТСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО ДЕМОНИСТРИРУЕТ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ // АРТЕМ МАГУН | ДРУГОЕ
ПРОСТРАНСТВО ///// ОКСАНА ТИМОФЕЕВА | РЕКЛАМНОЕ МЕСТО СВОБОДНО?
ДМИТРИЙ ВОРОБЬЕВ – ДМИТРИЙ ВИЛЕНСКИЙ | RECLAIM YOUR SPACE! ИЛИ
ДИССИДЕНТСТВО ПО-НОВОМУ!

SERGEY SITAR – DAVID RIFF | RE-DISCOVERY OF POST-SOVIET SPACE /// EKATERINA DEGOT – ELENA SOROKINA | THE UNINHABITED
SPACES OF DEMOCRACY /// BORIS KAGARLITSKY – ALEXEY PENZIN | SOVIET SPACE PROVES TO BE RESISTANT /// ARTEMY MAGUN
ANOTHER SPACE ///// OXANA TIMOPHEYEVA | FREE AD SPACE? /// DMITRY VOROBJEV – DMITRY VILENSKY | RECLAIM YOUR SPACE OR,
THE NEW DISSIDENCE!

[illegible]

Давид Рифф (ДР): Пост-советское пространство – очень популярный термин, но, увы, лишь немногие из тех, кто его использует, дают себе труд объяснить его значение. Чаще всего это не более чем коллективная репрезентация бескрайнего геополитического пространства, образовавшегося после распада СССР. На мой взгляд, это представление остается слишком расплывчатым. В лучшем случае, пост-советское пространство становится средоточием фантазмагорий прошлого. Чтобы попытаться прояснить этот термин, мы, вслед за Анри Лефевром, можем задать следующий вопрос: обладает ли “пост-советское пространство” специфическим для него языком, своими пространственными идиомами? Существовало ли специфическое «советское пространство» как особый способ производства жилища, институций и «общественных мест» социализма? (Лефевр, похоже, отвечал на этот вопрос отрицательно). И как бы ты определили «пост-советское пространство»?

Сергей Ситар (СС): Пожалуй, правильно было бы расположить эти вопросы в хронологическом порядке, и начать с прояснения специфики “советского” пространства по отношению к “западному” (времени их глобального соперничества). Не упуская при этом из виду сходства – т.е. рассматривая их как “отрицательных двойников” друг друга, порожденных одной и той же индустриальной эпохой. Мне представляется продуктивной перспектива, в которой советское пространство противопоставляется западному в ракурсе противостояния “гегельянского” и “кантианского” начал. В критической философии Канта пространство рассматривается как *ресурс* и *средство* (организации опыта) – вроде такого “полезного ископаемого”, но только скрытого в априорной глубине разума. И вот американские города периода урбанизационного перехода – от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса – производят очень “кантианское” впечатление. Начинается все с гомогенной прямоугольной сетки улиц (рационально схваченного или захваченного пространства), а дальше – кто во что горазд, начинается конкуренция и разнообразие (при относительном законодательстве разума). Смысл всего этого так же очевиден и абсурден как знаменитое кантовское “звездное небо” (отсюда, вероятно, и американский звездно-полосатый флаг). Во время визитов в западные города постоянно охватывает ощущение какого-то избыточного, маньеристского, где-то даже сибаритского галлюциноза, предельной манифестацией которого очевидно является Диснейленд и “тематический молл”.

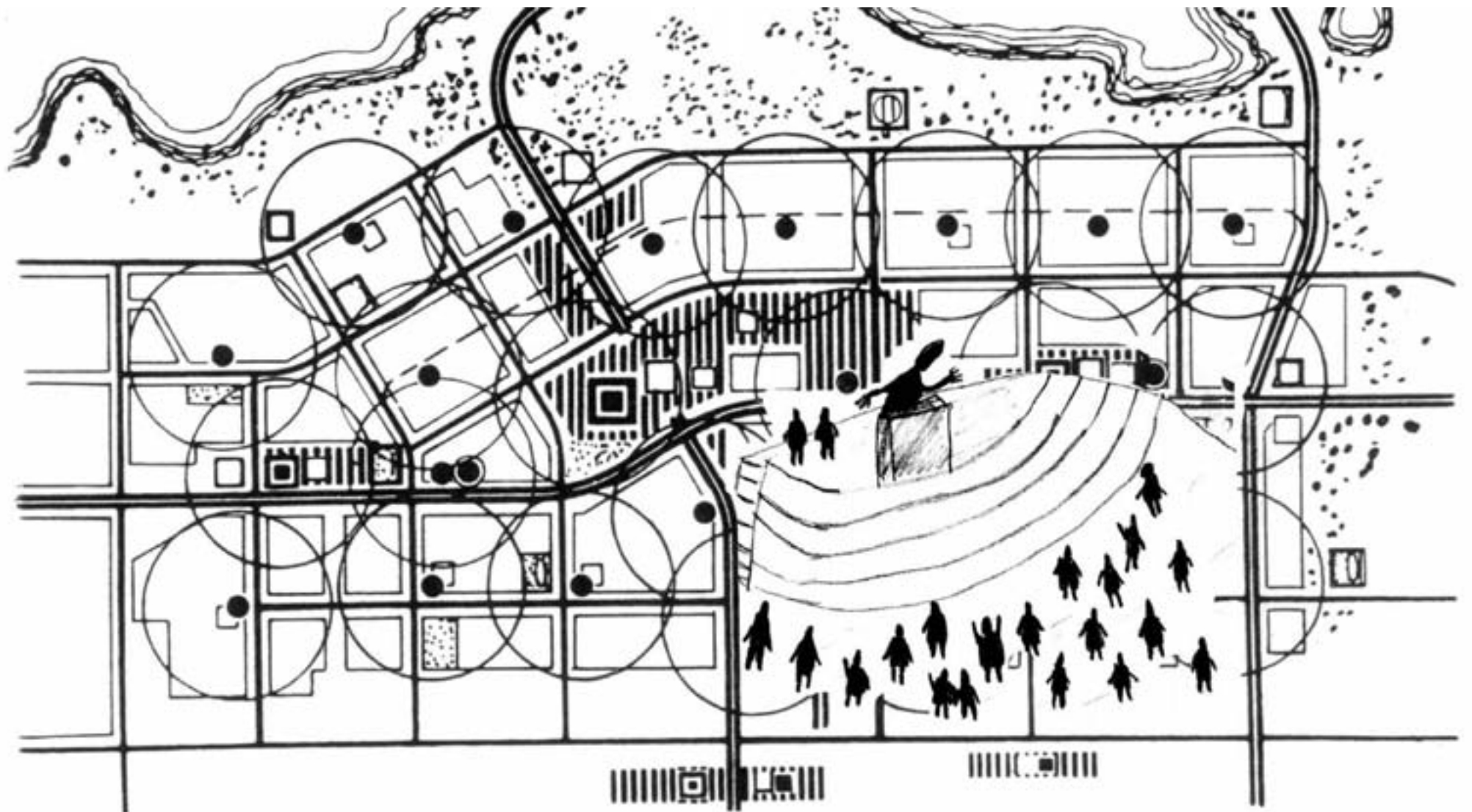
Гегель, в свою очередь, определяет пространство как “безразлично понятое различие” – то есть это своего рода эстетическое *преодоление всех различий* ради достижения высшего уровня абстракции. Тут, конечно, сказывается характерный гегелевский эсхатологизм, который приводит его в итоге к утверждению “времени как истины пространства”.

Когда мы в рамках проекта “Убывающие города” проводили исследование порядка 10 малых и средних городов депрессивной Ивановской области, то меня в первую очередь поразили даже не монотонность их типовой застройки и не сходства в планировочной конфигурации (впрочем, жесткой сетки нет ни в одном из этих городов), а вопиющая однотипность на уровне их бытовой и светской культурно-образовательной инфраструктуры. Причем бытовая сторона редуцирована до предельного минимума (по сравнению с “западом”), а культурная – как-то “патологически” раздута. В крошечном умирающем городе Южа на 15 тысяч человек, где в 2004 году только-только появилась первое частное кафе, имеются при этом три постоянно действующие публичные библиотеки, музей, собственная газета, четыре средних школы с бесчисленными кружками, отделение ВУЗа, спортивный центр со стадионом, драмтеатр, оркестры и рок-группы, народный хор и еще целый ряд мелких культурных институций включая, например, “общество поэтов”. Все это так или иначе переплетено с муниципальной властью и через нее – с федеральным центром. *И все примерно так и было в советское время.* Но тогда по артериям этой сети учреждений циркулировала произведенная в центре идеологическая информация, а сейчас “смысл” (или “контент”) всего этого дела уже далеко не очевиден. Складывается только впечатление, что Россия вместе с ее властно-организационными структурами остается интегрированной в некое “соборное” тело, главным занятием которого является то самое гегелевское самопознание – осуществляемое вперемежку с периодическими выпадениями целых деревень и кварталов в мрак алкогольного беспамьятства, в буддийский “черный экран”. Хотя, на самом деле, и “самопознание” это подстегивается изнутри ничем иным как предвкушением все той же буддийско-гегелевской *абсолютной негации*, отрицанием какой бы то ни было самопонятности и самоидентичности, типа: “Да пошло это все на хуй!”. Пространство в такой системе – не средство, но цель, а достижение этой цели является одновременно и моментом ее снятия (например, во времени – через упразднение “временящей незавершенности” пространства, – или как-то еще). Тут много такого характерно гегелевского *суицидального героизма* – не случайно, похоже, лидеры “Хамаз” пожаловали в первую очередь именно в Россию.

David Riff (D.R.): “Post-Soviet space” is a very popular term, but few people actually bother to explain what it means when they use it. Most often, it is little more than a collective representation of the vast geopolitical zone that arose with the collapse of the Soviet Union. I feel that this is far too vague. In the best case, post-Soviet space becomes an imaginative accumulator for a phantasmagoria of the past, a vicarious experience seen at an untouchable distance. Working to disambiguate the term, we could ask, with Henri Lefebvre, whether “post-Soviet space” forms a language, a spatial idiom of its own? Was there such a thing as “Soviet space” as a specific mode of producing the domiciles, institutions, and “common places” of socialism? (Lefebvre seemed to think that this was not the case.) In short, how would you define “post-Soviet space”?

Sergei Sitar (S.S.): It would probably be best to separate these questions out into chronological order. We can begin by clearing up the specificity of “Soviet” space in relation to “Western” space (in the time of their global competition), without ignoring their similarities. It makes most sense to understand them as “evil twins” that produced one another in the same industrial epoch. I think it might be productive to see the opposition between Soviet space and Western space from the vantage of “Hegelian” and “Kantian” principles. In Kant’s critical philosophy, space is understood as a *resource* and a *means* (for organizing experience) – something like “fossil fuel,” hidden from reason in the depths of the a priori. Understood in this way, the American cities from the period of rapid urbanization – from New York to Los Angeles – make a very “Kantian” impression. Everything begins with a homogeneous street grid at right angles (space appropriated or captured according to a rational principle). But then, everyone does what he feels like doing; there’s competition and diversity (guaranteed by the relative legislation of the rational mind). The meaning that all of this produces is just as self-evident and absurd as the famous Kantian “starry sky” (which is probably where the American star-spangled banner comes from). During visits to Western cities, one constantly falls prey to the feeling of some kind of redundant, mannerist, even sybaritic hallucination, whose most extreme manifestation is obviously Disneyland or the “themed mall.”

Hegel, in turn, defines space as “difference understood indifferently,” that is, as an ecstatic surmounting of all differences in favor of reaching the highest level of abstraction. This, of course, reveals an eschatological outlook so characteristic for his thinking, which ultimately leads to the postulation of “time as the truth of space...” In the framework of the project “Shrinking Cities,” [an examination of former industrial centers all over the world, shown at Berlin’s Kunstwerke in 2004], we studied about 10 small and medium sized towns of the depressed Ivanovo region. What amazed me most wasn’t necessarily the monotony of their standardized housing or the similarity of their spatial configuration (by the way, not one of these towns actually follows a rigid grid plan), but their outrageous uniformity on the level of infrastructures for everyday life and culture/education. While the aspect of everyday life has been reduced to a bare minimum (in comparison to that in the “West”), *culture* is somehow “pathologically” hypertrophied. The tiny, dying town of Yuzha with a population of 15,000, in which the first private cafe only opened in 2004, has three public libraries that operate regularly. The town has its own museum and its own newspaper. There are four high schools with countless activity groups, sections of institutions of higher education, an athletic center with a stadium, a dramatic theater, orchestras and rockgroups, a folk-choir, and a whole plethora of small cultural institutions, including, for instance, a “society of poets.” All of these are somehow interwoven with the municipal authorities, and through them, with the federal power-center. *And it was basically like this in the Soviet period.* Then again, in the Soviet period, the arteries of this network circulated ideological information that was produced in the center, while today, the whole “point” (or “content”) is



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Сергей Ситар – Давид Рифф | Переоткрытие Пост-Советского пространства

центрами, которые были колонизированы мелкими частными конторами, – или хотя бы то, как подземные переходы превратились в дешевые торговые пассажи, бесконечные ряды прилавков с мусором...) С другой стороны, было и “коллективное” предвкушение некой возможности, которое никак себя не оправдало – или, при более оптимистическом взгляде, было вновь *интериоризовано*...

Важным показателем того, что происходило тогда в культуре (и того, какими были недолго просуществовавшие “общие” пространства) мне представляются провокативные художественные акции вроде легендарной акции Осмоловского на Красной площади (1991 г.), где под его руководством упавшие на мостовую участники образовали своими телами профанное слово *хуй*. Акции такого рода были попыткой *отклонения* (*detournement*) рутинного набора репрезентаций, открывающей перспективу, которая могла бы стать мощным *репрезентационным* потенциалом для подлинной, радикальной демократической революции - или, через какое-то время, попыткой показать, что Перестройка уже сгорела вместе с Белым Домом. Теперь большинство художников (включая самого Осмоловского) воздерживается от подобных интервенций. Если сегодня попробовать без разрешения построить баррикаду в центре Москвы, то вас немедленно арестуют. Так или иначе, по мере стабилизации пост-советского пространства становится ясно, что советский опыт – как “официальный”, так и “неофициальный” – является одновременно и *инструментарием* и *материалом* для конструирования локуса, совместимого с мировым рынком: фрагменты “советского” перемешиваются с элементами рыночного. К настоящему моменту сформировался целый спектр новых механизмов контроля. Все эти “проекты контроля” как-то сосуществуют и даже противостоят друг другу, однако все они вписываются в неолиберальную логику рыночной экономики.

Но все же более ярким симптомом, – который, как мне кажется, связан с различием между гегельянской и кантианской парадигмами, – является почти полное отсутствие той “критически-креативной” социологии, которая возникла в западном искусстве после “пространственного переворота” и продолжает оставаться очень популярной. Ваше исследование по Иванову в рамках проекта “Убывающие города” было одним из немногих примеров – хотя я не могу отделаться от ощущения, что твоя вовлеченность в традицию Московского концептуализма привела к возникновению, в вашем случае, какой-то новой критической методологии. Как бы ты описал этот подход? Какие методы мы можем применить для рассмотрения сложившейся ситуации, чтобы наш анализ стал критическим, политическим, расширяющим возможности пространств нашего повседневного обитания, – не отдавая, в то же время, эти возможности на откуп бесконечной экспансии капитала? Способны ли критические методологии, вообще говоря, “освободить” пространство? И способно ли на это искусство?

СС: Боюсь, мне снова придется обратиться за помощью к Лефевру, чтобы немного “заземлить” довольно распространенный поэтический образ сегодняшней России как такой беспомощной красавицы-жертвы в руках двух матерых палачей – кровожадного Международного Капитала и “восставшего из могилы” Советского Левиафана. Но сначала – всего два слова о влиянии концептуалистской топки на наше исследование. Если ты помнишь, среди прочего “эзотерического сленга” в дискурсе КД (и особенно – в романе Монастырского “Каширское шоссе”) активно используется такая описательно-аналитическая категория как “согласованная реальность”. В принципе, это то же самое, что в марксистско-ленинской системе координат обозначалось термином “объективная реальность”. Однако смена эпитета в данном случае – не только отношенческий жест. Я некоторое время не знал, как назвать один из центральных проектов в рамках нашего исследования, – который как раз был посвящен выявлению процедур стабилизации реальности через пространственные практики и коммуникацию в конкретном локусе (Иваново), – и в конце концов решил назвать его “Согласованный город”. По английски это звучит как ‘Consensual city’, – и, надо сказать, что такое название поначалу вызвало отторжение у наших прогрессивно настроенных западных партнеров по “Убывающим городам”: consensus? – and what about discord? Объяснить было очень трудно. И лишь после завершения проекта я довольно неожиданно наткнулся взглядом на место в “Производстве пространства”, где Лефевр обозначает интеграл осмысленных пространственных “моментов” социальной практики именно словом “консенсус”, подчеркивая при этом первичность этого “консенсуса” по отношению к “субъекту”. Хотя, пожалуй, более значимым (и приложимым как к нашему исследованию, так и к концептуалистской традиции) является введенное Лефевром понятие “текстуры”, с помощью которого он, с одной стороны, включает пространственную деятельность в семью других означающих практик, а с другой – подчеркивает “голографическую” специфику этой деятельности, которая (на пути к пространству-как-консенсусу) синтезирует многочисленные “системы” и “подсистемы” значений в рамках некоего “сверх-кодирования” (supercoding), “устремленного к всеохватывающей тотальности”. Нечто очень созвучное можно найти, к примеру, в “Практическом смысле” Пьера Бурдьё, где он наглядно показывает, как соотношение небольшого числа базовых конструктивных элементов и зон традиционного народного жилища задаёт смысловую матрицу, из которой затем разворачивается все неровное разнообразие “жизненных констант” ее обитателя – тысячи повседневных понятий, уже исходно генетически связанных в интеллигибельное целое.

На фоне этой проблематики, которая с институтских времен занимала меня в связи с архитектурной теорией, политизированный акционизм 90-х мне всегда казался чем-то весьма своевременным, но (возможно, именно поэтому) не очень эффективным, – “тромкие” акции Осмоловского, Бреннера и Кулика тех лет напоминали поведение некоторых особо ретивых футбольных фанатов, которые во

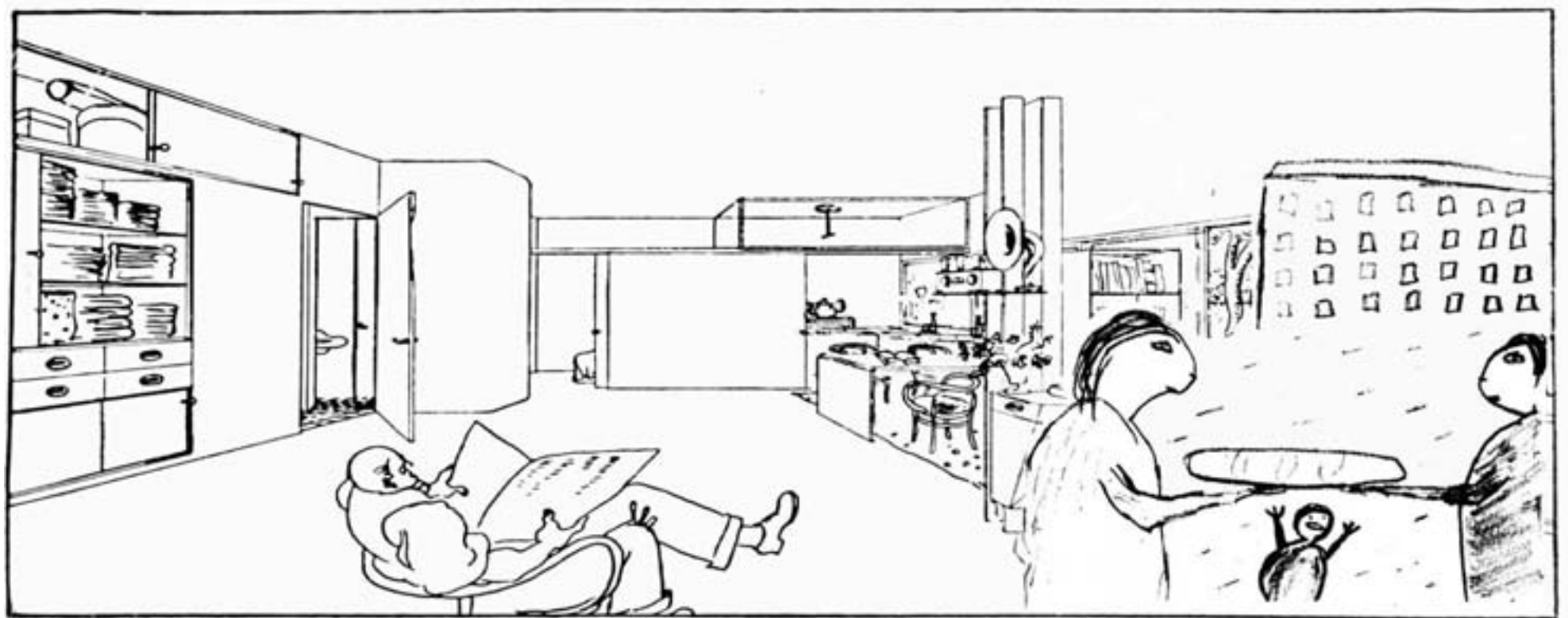
D.R.: Such phantasmagoria arises from the contradictions of spatial disintegration. Planning institutes were cut up into small private businesses; subterranean underpasses were transformed into low-cost shopping arcades, endless rows of stalls with junk... On the other hand, there was also a “collective” sense of possibility, which seems to have been thoroughly disappointed, or – on a more hopeful note – *interiorized* again...

To me, it seems that a great symptom of what happened in culture (and the outlook onto formerly “common” space) can be found in provocative artistic performances like Osmolovsky’s legendary action on Red Square in 1991, where he orchestrated the laying-out of the Russian profanity *khui* (=cock). Actions like these tried to *detourn* a routinized set of representations, thus indicating what seemed like a great *representational* potential for a genuine, radical democratic revolution, [...] or – as time passed – to show that the Perestroika was already burnt out like the Russian parliament after it was shelled in 1993. By now, most artists (including Osmolovsky himself) have turned away from such interventions. This is symptomatic. If you tried to build a barricade today in the center of Moscow without permission, you’d be arrested immediately. Anyway, as post-Soviet society stabilizes, it becomes clear that the Soviet experience of space – both official and “non-official – actually contributes both *toolkit* and *material* for constructing a locality compatible with the world market: its fragments are intermixed with new (market based) modes of production. By now, it seems like there are many different projects of control afloat. All these projects coexist somehow and even seem at odds with one another, but can also be subsumed under the neoliberal logic of a market economy.

Moreover, it is symptomatic – and I think this has to do with the difference between Hegelian and Kantian paradigms – that there is very little “critical-creative” sociology of the type that was and still is very popular in Western art after the “spatial turn.” Your examination of Ivanovo in “Shrinking Cities” was one of the few examples that went in this direction, but it seems to me to have thoroughly *interiorized* the methods of Moscow Conceptualism. Which methodologies do we have at our disposal in approaching post-Soviet space critically, politically, pointing toward possibilities of the spaces we inhabit without immediately meaning the possibilities of capital’s endless expansion? Can critical methodologies “free” space at all? And what about art?

S.S.: I'm afraid that I will have to seek the help of Henri Lefebvre yet again in order to "ground" the rather common poetic image of contemporary Russia as a helpless maiden in the hands of two double-dyed executioners, bloodthirsty Global Capital on the one hand, and the Soviet Leviathan "back from the grave" on the other. But first, I'll say just few words about the influence of Moscow Conceptualism on our research. You might remember that that among other pieces of "esoteric slang," the discourse of the Collective Actions group (and especially Andrei Monastyrsky's novel "Kashirskoe Shosse") actively uses a descriptive-analytical category called "consensual reality." Basically, this is the same thing as what a Marxist-Leninist system of coordinates names as "objective reality." However, in this case, the application of this epithet is not only a gesture that expresses its author's belligerent relationship to Marxism. For a while, I did not know what to call one of the central projects in the framework of our study, which was, in fact, dedicated to uncovering the procedures of stabilizing reality through spatial practices and communication in a concrete locus (Ivanovo), and in the end, I decided to call it "Consensual City." I have to say that this name initially evoked a negative response from some of our progressive-minded Western partners in the "Shrinking Cities" project: consensus?, they said, and what about discord? It was very difficult to explain.

It was only after the project was completed that I unexpectedly came across a passage in “The Production of Space” where Lefebvre describes the integral of spatial “moments” rendered intelligible through social praxis with the exact word “consensus,” while underlying the primary nature of this “consensus” in relation to the “subject.” However, what seems even more important (applicable to both our research on Ivanovo and the tradition of conceptualism) is Lefebvre’s notion of “texture,” with whose help he, on the one hand, includes spatial action into the family of other signifying practices, and, on the other hand, underlines the “holographic” specificity of this action, which (on the path to space-as-consensus) synthesizes a large number of “systems” and “sub-systems” of meaning in the framework of a certain “supercoding” that “tends toward the all-embracing presence of the totality.” One can find something that resonates very well with this concept in Pierre Bourdieu’s “Practical Reason” (1998), where he clearly shows how the interrelation of a small number of basic constructive elements and zones of traditional folk domiciles provide a matrix of meaning from which the entire amazing multiplicity of “life constants” of its inhabitants then unfold, thousands of everyday notion, already connected into an intelligible whole from their very outset.



>>> Sergey Sitar – David Riff | Re-discovery of Post-Soviet Space

время напряженных матчей (финалов Чемпионата Мира и т.п.) выбегают на поле (часто – сорвав с себя одежду) и носятся там как угорелые пока их не “повяжут” охранники. Можно ли квалифицировать подобный акт как эффективную попытку захвата или “отклонения” (detournement) *пространства спорта (или матча)*? Не уверен. И дело здесь, очевидно, не в масштабе действия. Но тут встает другой, более фундаментальный и “абсурдный” вопрос – *можно ли освободить пространство спорта и нуждается ли оно в освобождении?* [...] Многие “парадоксы” современной культуры (например, распространенная ныне по всему миру схема городского редульопмента, при которой элитные gated communities возникают на месте арт-сквотов), заставляют признать, что нет никакого принципиального противоречия между стратегиями художественного авангарда и экономической логикой капитализма. Обе они являются выражением выделенной нами “кантианской” парадигмы, которая (как примерно уже было сказано): а) ориентирована на “захват”; б) подменяет описанную Ледевром *текстуру* кодов все более универсальной и абстрактной аксиоматикой (у Канта это *формулы* пространства и времени, таблица категорий, универсальный этический императив и т.д.). Термин “абстрактная аксиоматика”, как ты понимаешь, пришел сюда из “Капитализма и шизофрении”, – и я, в принципе, вполне готов вместе с Делезом и Гваттари и радоваться и плакать по поводу глобальных успехов капитализма, – признавая, в то же время, что он, как и “классический” авангард, замирает на историческом пороге, который угрожает разрушением его “предельно минимизированной” идентичности. На мой взгляд, на роль гегелевского “иногобытия” капитализма может подойти парадигма творения ex nihilo (или “революции без захвата власти”), – которая была довольно глубоко проработана, в частности, в религиозно-мистической традиции, и которая преодолевает кантовское “основоположение устойчивости субстанции”, подразумевающее необходимость “захвата”, “охвата” и “освобождения”... Сам Кант выходил за пределы этого своего основоположения через категорию “вещи-в-себе”, но она, в свою очередь, выводит нас за пределы отведенного нам “пространства для диалога о пространстве”.

ДР: Мне этот разговор показался чрезвычайно интересным, но все же я не могу преодолеть ощущение, что осталось нераскрытым нечто очень важное, касающееся различий в наших философских подходах и того, как это проявляется в различных способах представления пространства. Возможно, сегодня не стоит безоговорочно принимать марксово определение капитала как инстанции, аннигилирующей пространство (*Grundrisse*) и создающей унифицированное поле имманентности, где больше не существует ни внутреннего ни внешнего. До сих пор подобная аннигиляция остается всего лишь проектом, тенденцией, возможно даже *телосом*, – но от нее все еще можно уклониться. Даже учитывая, что мы быстро приближаемся к состоянию, в котором политика становится чем-то невозможным, – особенно в пост-советском пространстве.

И вот почему гегелевская концепция *Er-innerung* (ре-интериоризации) кажется мне столь продуктивной: создание или использование механизма ре-интериоризации позволяет людям делать пространства возможными, – без обязательных отсылок к “чистому разуму” или диалектическим противоположностям истории, но через все большую вовлеченность в свое имманентное пространственное окружение и через лучшее понимание следов и языков, которые это окружение наполняют. Все это звучит неуклюже и абстрактно, но подразумевает конкретные (практические) следствия, особенно в том, что касается отношения между пространством и политикой. Пусть даже лозунг “вернуть себе улицы” в пост-советском пространстве невозможно реализовать по объективным причинам, но мы все таки можем попытаться реконституировать внутреннее пространство политических потенциалностей, – в той же мере, в какой мы должны пытаться понять “внутреннюю логику” внешнего. Ни Гегель, ни Кант, ни даже Делез не являются “внутренними врагами”. Все они могут оказаться полезными для создания пространств, где политика возможна, – реальных или воображаемых, в сквотах, на страницах газет, или даже в буржуазных ресторанах, где мы сможем обсуждать их концепции без гнетущего ощущения, что упоминание их имен подразумевает фатальный компромисс с нашей стороны.

СС: Я хочу поддержать эту линию в том смысле, что здесь в России чрезвычайно важным является постоянное *пере-обнаружение* (или, как ты говоришь, ре-интериоризация – *Er-innerung*) границ твоей конкретной сферы интересубъективности *как совпадающих с границами и социального и физического мира*. И не блокирующее (в то же время) интенциональный ресурс универсалий. И именно на этом, с большим или меньшим успехом, строился наш подход в “Убывающих городах”.

Сергей Ситар - художник, писатель, редактор журнала "Проект Россия", куратор выставки "Убывающих города", живет в Москве

Давид Рифф, род. 1975 г. в Лондоне, художественный критик, писатель, член рабочей группы «Что делать?». Живет в Москве и Берлине

Against the backdrop of this problematic, which has captivated me since I was at university in connection with architectural theory, the politicized Actionism of the 1990s always seemed to me to be very much a product of its time, but this might also be why it never seemed very effective; the “loud” actions of Osmolovsky, Brener, and Kulik in those years were reminiscent of the behavior of certain especially zealous soccer-fans, who run out onto the pitch during especially tense matches (during World Championship finals, etc.) and scamper around like madmen (sometimes – completely naked) until the guards don’t come and tie them up. Can one qualify an act like this as an effective attempt at reclaiming or “detourning” *the space of a sport or a match*? I’m not so sure. And obviously, the problem isn’t the scale of the action. But then, this metaphor raises a question that is far more fundamental and “absurd” – *can one free the space of a sport, and does this space even need to be freed at all?*

[...] Many “paradoxes” of contemporary culture (e.g. the globally spread pattern of urban redevelopment that entails transition from art-squats to elite gated communities) suggest that there is no fundamental contradiction between the strategies of the artistic avant-garde and the economic logic of capitalism. They both express the “Kantian” paradigm we have been talking about, which – as we’ve basically already said – a) is oriented toward the “capture of space” and b) replaces the *texture* of codes that Lefebvre describes with a more *universal and abstract axiomatic* (for Kant, these are *formulas* of space and time, a table of categories, a universal ethical imperative, etc.). As you’ve probably guessed, the term “abstract axiomatic” comes from “Capitalism and Schizophrenia.” Basically, like Deleuze and Guattari, I am ready to laugh and to cry when I look at capitalism’s global successes, while admitting that the term itself – like the “classical avant-garde” – freezes up on the historical threshold that threatens to destroy its “absolutely minimized” identity. In my view, the paradigm of creation *ex nihilo* (or “revolution without power-seizure”) can take on the role of capitalism’s “being-other.” This paradigm was developed quite intensively, among other directions of thought, by the religious mysticism of all principal traditions. It transcends the Kantian principal of “foundational stability of substance,” which, in turn, presupposes the necessity for the “capture,” “encompassing,” or “making free” of space. Kant himself went beyond the boundaries of this basic foundation through the category of the *thing-in-itself*, but a discussion of this category would, in turn, lead far beyond the boundaries of the “space for a dialogue on space” that we have here.

D.R.: I think our dialogue has been extremely captivating, but I can't get rid of the impression that something very important has been left unsaid. Perhaps today, it is very important not to accept Marx' diagnosis of capital as something that annihilates space, creating a unified plane of immanence where interior and exterior no longer exist. For now, this annihilation is still a project, a tendency, even a telos, but it can be averted. Even if we rapidly seem to be approaching a world in which politics are impossible, especially in post-Soviet space.

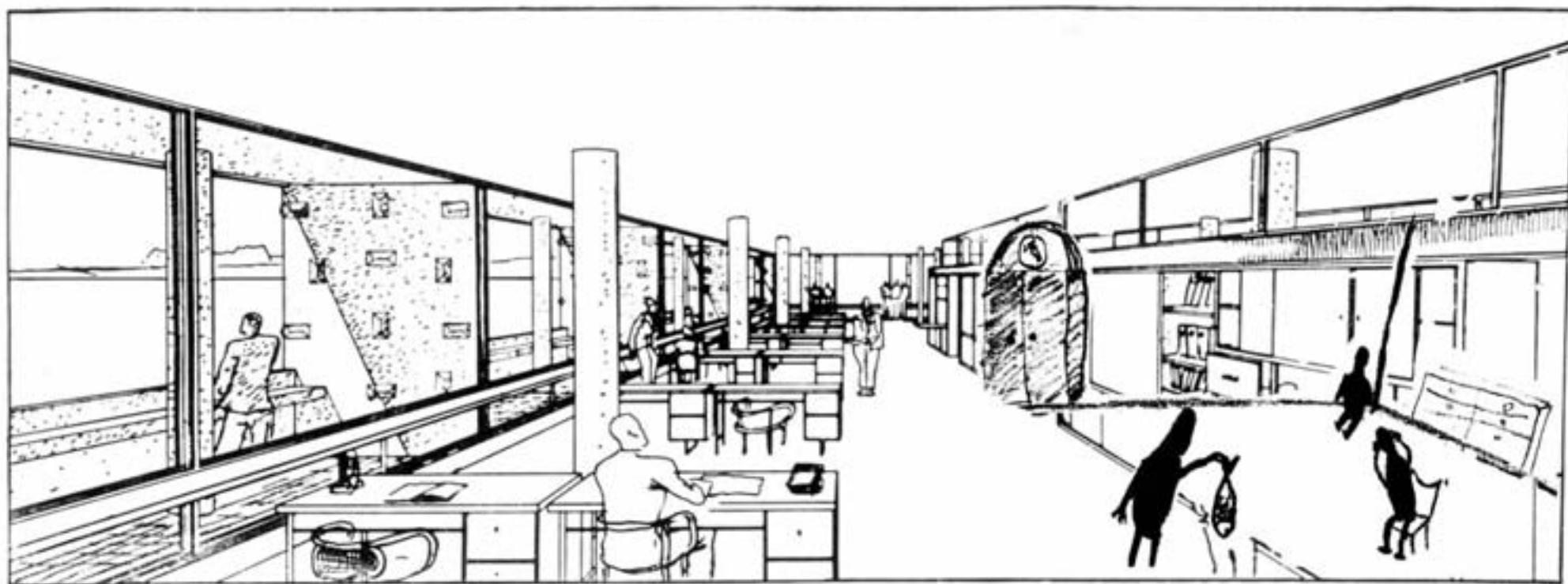
Here's why Hegel's idea of *Er-innerung* seems so constructive to me: people make space possible by creating or producing it, perhaps not with reference to Big Others of history or "pure reason," but in reference to their own growing awareness of their immanent surroundings, and the traces and languages these surroundings entail. This sounds awkwardly abstract, but has concrete implications, especially for the relationship between space and politics. While it may be objectively impossible to "reclaim the streets" in post-Soviet conditions, we can try to reconstitute an inner space of political potentiality, just as we must attempt to understand the "inner logic" of the outside. Neither Hegel, nor Kant, nor even Deleuze are the "enemy within." All of them can be helpful in creating spaces where politics are possible, in squats, on newspaper pages, or even in bourgeois restaurants, where we can argue about the topoi they raise without feeling that we have already made a fatal compromise by mentioning their names.

S.S.: I would like to support this line of thinking in the sense that here in Russia, it is extremely important to constantly re-discover (or as you say, *re-interiorize, re-member*) the boundaries of one's concrete sphere of intersubjectivity *as something that coincides with the boundaries of the social and physical world*, - and something that simultaneously does not block the intentional resource of universalities. And this is exactly what we tried to base our approach in "Shrinking Cities" upon, with more or less success.

Sergey Sitar, artist, writer, art editor of the magazine "Project Russia", curator of the exhibition "Shrinking Cities", lives in Moscow

David Riff, born 1975 in London, art critic, translator, writer, member of the workgroup "What is to be done?". Lives in Moscow and Berlin.

translated by Sergey Sitar and David Riff



Екатерина Деготь – Елена Сорокина | Необжитые пространства демократии

ЕС: Лефевр утверждал, что существует политика пространства, поскольку пространство по существу категория политическая. Можно сказать, что акционизм 90х вполне вписывается в эту установку, поскольку многие художники использовали публичные пространства как для своих работ, так и для политических комментариев. Например, Осмоловский часто делал свои акции в местах с определенной исторической и идеологической нагрузкой – на Красной Площади, перед Российским парламентом, совершая акты десакрализации как прежних советских так и новых “демократических” пространств. Какие комментарии пространства в русском актуальном искусстве имеют место, о каких формах художественной рефлексии мы можем говорить по отношению к пост-советскому пространству? Например, иконой советского пространства в современном искусстве является, благодаря Кабакову, коммунальная квартира, ставшая символом советской клаустрофобии, вышеупомянутые акции Осмоловского маркируют абсолютно противоположный метод использования пространства и работы с ним. Что происходит сейчас?

ЕД: Работа художников с коммунистическим наследием сейчас, действительно, эволюционирует от его осознания в качестве набора символов, материальных артефактов (это также значит, конечно, - в контексте рынка артефактов), как видели СССР уже художники соц-арта 1970-х – 1980-х годов, к его представлению в качестве особого типа пространства. Промежуточной стадией была работа с монументом. Искусство начала 90-х полно героико-комических попыток замещения собой отсутствующего или дискредитированного памятника. Анатолий Осмоловский тогда залезал на плечо огромного памятника поэту Владимиру Маяковскому (как бы возвращая революционный импульс этому мученику авангарда, незаконно «присвоенному» сталинизмом), тайно проникал на крышу Мавзолея, где раньше стояли Сталин и Брежнев, Александр Бренер, встав на место убранный с площади памятника патрону КГБ Дзержинскому, пытался прокричать горожанам «Граждане, я ваш новый коммерческий директор». В последнем случае важной деталью было то, что к месту, где стоял памятник, нельзя подойти, не нарушив правил уличного движения (фактически даже – не рискуя жизнью, так как вокруг него обычно интенсивные потоки машин). Все это была работа с пустующей «вершиной» пространства, понимаемого иерархически, в качестве пирамиды власти. Это соответствовало традиционному взгляду на СССР как на антидемократическую тиранию, функционирующую при помощи идеологического контроля. Так думали в начале 1990-х, когда казалось, что Россия придет к большей, чем была в СССР, демократии. Но к началу XXI века стало ясно, что Россия, напротив, удаляется от того потенциала демократии, который был заложен в СССР и как раз реализовался в 1960-е – 1970-е годы в форме мощной гражданской самостоятельности, направленной уже не на строительство государства, как задумал Ленин, а против этого государства (культура «самиздата», неофициальная культура, диссидентство). Сегодня для художников, мыслителей, а в значительной степени и просто граждан советское прошлое идентифицируется уже не только с государственным, но и с утраченным общественным началом. А в искусстве его символом выступает как раз пространство.

ЕС: Мне кажется, что проекты в общественном пространстве молодых художников, таких как новосибирская группа САТ или киевская группа РЭП, в определенной мере реагируют на описываемые тобой проблемы. Их интервенции в нынешние “демократические” демонстрации не только апроприируют их коллективное пространство иным (неидеологическим) образом, но и подчеркивают карнавалы дух подобных мероприятий, реагируя в какой-то степени на резкое изменение статуса общественного пространства. Какие конкретные проекты ты имеешь в виду?

ЕД: Коммунистическое искусство с самого начала было задумано как искусство огромных публичных пространств. Они узнаваемы в своем специфически коммунистическом характере даже сегодня, когда между огромными общественными зданиями – музыкальными школами, библиотеками, дворцами труда и культуры – ветер носит только пустые пластиковые бутылки из-под Кока-Колы. Это коммунистическое пространство, раскрытое одновременно во все стороны, должно было диалектически объединить в себе два вектора: горизонтальное измерение социальной интеракции на равных («братства») и вертикальное измерение огромной социальной динамики («полета»). На практике эти «братство» и «полет», или, иначе говоря, дружба и карьера оказывались несовместимы. Экстравертный, радикально открытый (интернациональный) характер советского пространства оказался тоже утопией. Но именно с этой утопией и работают художники сегодня, остро переживая ее отсутствие не только в антидемократической и закрытой современной России, но и в глобальном мире, где демократизм и открытость часто оборачиваются своей противоположностью. Например, работая с так никогда и не обжитыми до конца советскими пространствами демократии, петербургская группа «Что делать» направляется в традиционные рабочие районы города «преданной пролетарской революции», чтобы там выйти на улицы с плакатами с текстами Брехта. Московская видеохудожница Людмила Горлова снимает свадьбы, которые играют сегодня прямо на улице, на огромной, долгие годы пустовавшей площадке около Московского университета. Драматическому

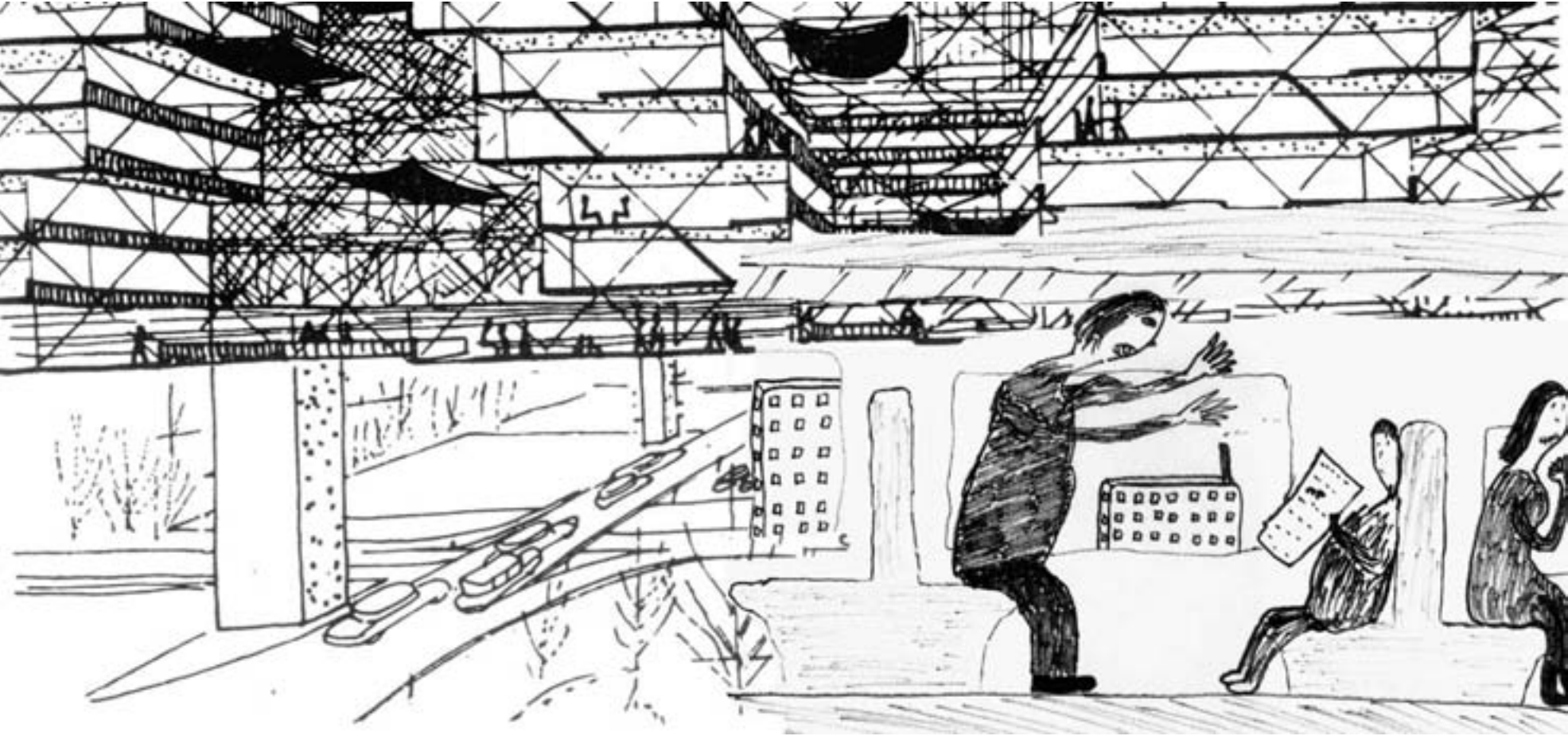
распаду целостного пространства человеческих взаимоотношений посвящена инсталляция Ольги Чернышевой «Панорама»: включенные в нее картины отсылают к «Круговой кинопанораме», известному советскому кинотеатру-аттракциону, в котором старая технология мультипроекционной «циркорамы», в XX веке впервые взятая на вооружение Диснеем в 1957 году, уже в 1959-м была доведена до технического и концептуального совершенства (темы братства и дружбы были центральными в советских фильмах, специально создаваемых для этого кинотеатра). Характерно, что эта экономически невыгодная технология, при которой происходит «растрата» материала (ведь человек не видит затылком), не получила развития в «обществе спектакля» и была скоро вытеснена монопроекционной и суперспектаклярной технологией IMAX, тогда как в коммунистическом «обществе без спектакля», где отношение к искусству было более ориентировано на целостное пространственное ощущение коллектива, чем на зрение индивидуума, она процветала очень долго. Эту систему человеческих связей про принципу «один за всех, все за одного», оставшуюся в советских кинофильмах 1960-х с их культом бескорыстной дружбы и любительского, несоревновательного спорта, воссоздают и инсталляции Дмитрия Гутова – например, «Гаси!» с воланами и сеткой.

ЕС: Хотелось бы попробовать очертить термины пост-советское и пост-коммунистическое искусство. Инфляция национальных идентичностей на рынке искусства привела к поискам новых моделей репрезентации. Можно сказать что феномен активного сотворения, развития и маркетинга национальных идентичностей функционировал по модели outsourcing – западные технологии по конструкции национальных идентичностей внедрялись на местах, дешевая рабочая сила «развивающихся стран» их производила и затем готовые продукты продавались на западных арт-рынках. Как ты справедливо замечаешь в одной из своих статей, советская идеология была универсальной, поэтому пост-советская “национализация” искусства и его дробление на национальные составляющие является упрощением чрезвычайно сложной ситуации.

КД: В самом деле, художники, выросшие в стране, декларировавшей (пусть даже эти декларации не были полностью реализованы) прекращение деления по национальному признаку, ощущают политику национальных идентичностей как насильственную этнизацию. В этом смысле категория пространства, места противостоит и категории «корней», «национальных традиций» - пространство не имеет отчества, так сказать. В этом, в частности, смысл темы космоса в советском искусстве и упомянутой тобой работы Кабакова «Человек, улетевший в космос». Но если советское неофициальное искусство работало с пространством как с категорией сугубо личной, интимной (пусть даже это пространство – космос), то постсоветские художники видят его социально. Именно поэтому приватизация общественного пространства – бывшего советского пространства – больше не вызывает у современных российских художников позитивной реакции, и они не идентифицируются с этим процессом так, как это было в начале 1990-х, когда, залезая на памятник, они субъективно осваивали его. Фотопроект «Участки» Ольги Чернышевой можно прочесть как мрачное пророчество о рождающемся на наших глазах социальном апартеиде, и только небо противостоит регрессу и остается общей собственностью.

ЕС: В работе Чернышевой “Участки” меня также интересует образ границы, которая, как известно, обозначает трансформацию пространства в территорию. Рефлексия художницы на тему “охраны границ” сырой земли приобретает особенно интересное звучание, будучи соотнесенной с принятым в 2001 году законом о частной собственности на землю. Этот закон разрушил одно из главных табу советской эпохи: “земля – крестьянам” был основным лозунгом революции, и отмена частной собственности на землю была первым Ленинским декретом после ее победы в 1917 году. С введением таковой после ее 80-летнего отсутствия остро встает проблема ее охраны – одна из основных структурных проблем любого капиталистического общества, которая в России принимает весьма выразительные формы – вооруженный автоматом десантник перед входом в супермаркет или металлодетектор у галерейной двери. Витиеватые заборы из проволоки, кусков жести и других подручных средств, которые фотографирует Чернышова, визуализируют именно эти отчаянные попытки очертить границы частной собственности и стеречь их всеми силами, хотя их высота и самодельно-кустарный вид никак не гарантируют реальной эффективности, а скорее служит для запугивания. В то время как Чернышова обращается к образу бывшей государственной земли, разграниченной на участки, художники Касмалиева и Джумалиев говорят о пост-советской территории, новые границы которой создают потенциал для конфликтов между бывшими “братскими республиками”. В работе “Тени”, опираясь на факт конкретного вооруженного столкновения на границе Киргизии, художники комментируют атмосферу напряжений на искусственных границах пост-советской Средней Азии, очерченных советской властью без учета каких бы то ни было культурных или этнических реалий. Продолжая твою метафору можно сказать, что и здесь только небо, простирающееся над тенью и телами погибших, остается вне логики территориальных переделов и конфликтов.

*Екатерина Дёготь - критик и куратор современного искусства, живет в Москве
Елена Сорокина - независимый критик и куратор, живет в Нью-Йорке*



Ekaterina Degot – Elena Sorokina | The Uninhabited Spaces of Democracy

Elena Sorokina (ES): Lefebvre argued that a politics of space exists since space is essentially a political category. The actionism of the 90s completely fits this mode: many artists used public spaces both as sites and as political commentary. Anatoly Osmolovsky, for example, often performed his actions in places that came with a certain historical and ideological baggage—on Red Square, or outside the Russian parliament building; his actions thus desacralized both old Soviet and new “democratic” spaces. What kinds of spatial commentaries are being made in contemporary Russian art? What forms of artistic reflection on post-Soviet space can we point to? Thanks to Ilya Kabakov, for example, the communal apartment, which had become a symbol of Soviet claustrophobia, is now a contemporary art icon of Soviet space, while the actions of Osmolovsky I’ve mentioned delineate an absolutely contrary method of using space and working with it. What’s happening nowadays?

Ekaterina Degot (ED): In their work with the communist heritage artists today really have been evolving from recognizing it as a collection of symbols and material artifacts (which, of course, applies to the antiques market as well)—this is how the Sots artists of the 70s and 80s saw the Soviet Union—towards imagining it as a particular type of space. The transitional stage was the period when artists focused on monuments. In the art of the early 90s we find many heroic-comic attempts on the part of artists to erect themselves on the sites of absent or discredited monuments. Osmolovsky climbed onto the shoulders of the enormous monument to the poet Vladimir Mayakovsky (thus returning, as it were, the revolutionary impulse to this martyr of the avant-garde, who had been illegally “appropriated” by Stalinism); and he secretly made his way onto the roof of the Lenin Mausoleum, where Stalin and Brezhnev had once stood. Alexander Brenner went to the spot where a monument to KGB patron saint Felix Dzerzhinsky had been removed from and attempted to yell out to passersby, “Citizens, I’m your new commercial director!” An important detail in this last case was the fact that you can’t get close to the place where the monument was without violating traffic rules (and without risking your life—the traffic around the square is usually heavy).

All these actions involved the abandoned “apex” of a space understood hierarchically, as a pyramid of power. This corresponded to the traditional view of the USSR as an antidemocratic tyranny that functioned by means of ideological control. That’s how people thought in the early 90s, when it seemed that Russia was headed towards greater democracy than had existed in the USSR.

At the beginning of the new century, however, it became clear that, on the contrary, Russia was moving away from the potential for democracy that had been planted in the Soviet Union. This potential was actualized precisely in the 60s and 70s in the form of a powerful grass-roots activism that was directed not towards the building the state, as Lenin had conceived it, but against this state (samizdat culture, unofficial culture, the dissident movement). Nowadays, artists, thinkers, and, to a great degree, ordinary citizens identify the Soviet past not only with the state, but also with this abandoned social principle. And in art it is space that serves as the symbol of this principle.

ES: It seems to me that the projects in the public space of such young artists as the Novosibirsk group CAT or the Kiev group REP are to a certain degree reactions to the problems you’ve described. Their interventions in today’s “democratic” demonstrations not only appropriate the collective space of such demonstrations in another (non-ideological) way, but they also underscore the carnivalesque spirit of such events and thus respond in some way to the abrupt shift in status of social space. What particular projects did you have in mind?

ED: From the outset communist art was conceived as an art of gigantic public spaces. The specifically communist character of these spaces is recognizable even today, when all you find there is the wind blowing empty plastic Coke bottles between the enormous public buildings from that era—music academies, libraries, palaces of labor and culture. Simultaneously exposed on all sides, this communist space was meant to dialectically unite within itself two vectors: the horizontal dimension of egalitarian social interaction (“brotherhood”) and the vertical dimension of a powerful social dynamic (“flight”).

In practice, “brotherhood” and “flight”—in other words, friendship and career (upward mobility)—proved incompatible. The extroverted, radically open (international) character of Soviet space also turned out to be a utopia. But it’s exactly this utopia that artists are engaging with now. They acutely experience its absence not only in the antidemocratic and closed Russia of today, but also in the globalized world, where democratism and openness often turn out to be their contraries. For example, working with those Soviet spaces of democracy that never were wholly inhabited, the group What Is to Be Done, in Petersburg, the hometown of the “betrayed proletarian revolution,” travels to traditional working-class districts, where they hit the streets wearing signboards bearing quotations from Brecht (the performance *Angry Sandwich People, or The Praise of Dialectics*). The Moscow video artist Liudmila Gorlova (in *Happy End*) shoots weddings that are celebrated these days right on the street, on an enormous square, near Moscow University, that has stood empty for many years.

Olga Chernysheva’s installation *Panorama* deals with the dramatic collapse of the integral space of human relationships. The pictures incorporated in the installation refer to the Cinepanorama, a well-known Soviet movie theater in which the old “circorama” (cycloramic) multi-projector technology, first employed by Disney in 1957, was technically and conceptually perfected, in 1959. (Themes of brotherhood and friendship were central to the Soviet movies made specially for this cinema.) It’s telling that this economically inefficient technology (half the footage is “wasted”: people don’t have eyes in the backs of their heads) was left undeveloped in the “society of the spectacle,” where it was soon ousted by the super-spectacular, single-projector IMAX technology. In “unspectacular” communist society, meanwhile, where art was oriented more towards a integrated, spatialized sense of the collective than towards the individual’s line of sight, circorama flourished for quite a long time. Based on the principle “all for one and one for all,” this system of human relations, which survived in Soviet movies of the 60s, where we see a cult of disinterested friendship and non-competitive amateur sports, is recreated in Dmitry Gutov’s installations—for example, in the volleyball net and shuttlecocks of *Smash!*

ES: I want to try and outline the terms “post-Soviet” and “post-communist” art. The inflation of national identities on the art market has led to the search for new models of representation. The active generation, development, and marketing of national identities functioned like outsourcing: western technologies for constructing national identities were incorporated at the local level; the cheap labor force of “developing countries” manufactured the identities; and then the finished products were sold on the western art market. As you correctly note in one of your articles, Soviet ideology was universal. That’s why the post-Soviet “nationalization” of art and its subdivision into national sub-components is a simplification of an extremely complicated situation.

ED: In fact, artists who grew up in a country that had declared an end to ethnic divisions (even if this declaration was only partly fulfilled) experience the politics of national identity as forcible ethnicization. In this sense, the category of space, of place, is opposed to the category of “roots,” of “ethnic traditions”—you might say that space doesn’t have a fatherland. This, in part, is the meaning of the outer space motif in Soviet art and of the work by Kabakov you’ve alluded to, *The Man Who Flew into Space*. But while Soviet unofficial art worked with space as a profoundly personal, intimate category (even if the space in question was outer space), post-Soviet artists see space as social. This is exactly why the privatization of social space—former Soviet space—no longer elicits a positive reaction from contemporary Russian artists. They no longer identify with the process the way they did in the early 90s, when you subjectively staked your personal claim on a monument by climbing onto it. Olga Chernysheva’s photo series *Plots* can be read as gloomy prophecy of the social apartheid that’s come into being right before our very eyes: only the sky resists this regression and remains common property.

ES: In Chernysheva’s *Plots* I’m intrigued as well by the image of the border, which is what marks the transformation of space into territory. The artist’s meditation on the theme of “guarding the borders” of plots of bare land takes on an especially interesting overtone when we relate it to the law on private ownership of land, passed in 2001. This law violated one of the central taboos of the Soviet age: “Land to the peasants!” was one of the main slogans of the Revolution, and the abolition of private ownership of land was Lenin’s first decree after victory in 1917. The reintroduction of private ownership after a hiatus of eighty years means that the problem of guarding property—one of the main problems of any capitalist society—becomes quite acute. In Russia, this takes on rather extravagant forms: the paratrooper toting a machine gun at the entrance to a supermarket, or the metal detector at the front door of a gallery. The ornate fences of barbed wire, tin sheeting, and other makeshift material that Chernysheva has photographed visualize just these attempts to draw boundaries around private property and to protect that property with all one’s might—even though the height of the fences and their homemade look are no guarantee of real effectiveness, but rather are meant to scare people away. At the same time that Chernysheva turns to the image of former state land which has been subdivided into plots, the artists Gulnara Kasnalieva and Muratbek Djoumaliev discuss post-Soviet territory, whose new borders create the potential for conflict between the former “brother republics.” In their work *Shadows*, the artists draw on the facts of a real armed clash on the Kyrgyzstan border in order to comment on the tense atmosphere along the artificial national frontiers of post-Soviet Central Asia, which the Soviet authorities drew up without any consideration of cultural or ethnic realities. Continuing your metaphor, we can say that here as well it is only the sky, which looks down on the shadows and bodies of the dead, remains outside the logic of territorial redistribution and conflict.

Ekaterina Degot is an art critique and curator, based in Moscow
Elena Sorokina is independent writer and curator, based in New-York
tranlated by Thomas Campbell



Борис Кагарлицкий – Алексей Пензин | Советское пространство демонстрирует сопротивляемость

Алексей Пензин (АП): Я бы хотел обозначить тематику и основные вопросы нашего разговора. Во-первых, для современной мысли пространство давно перестало быть абстрактной категорией «трансцендентального аппарата» субъективности. В социальном мире оно осваивается и производится в качестве такового в тех или иных исторических условиях и различным образом. Это конкретное, - например, городское - пространство пронизано отношением власти и доминирования. Хотелось бы понять, как делается пространство сейчас, и следы каких отношений оно в себе несет. Во-вторых, если мы имеем в виду городское пространство в условиях позднего капитализма (или «постфордизма»), мы уже не можем говорить, что все производство концентрируется на фабрике, локализовано в своих традиционных местах. Отношения капитала распространяются на все общество, и сам город тоже становится «фабрикой», которая насыщена социальными или классовыми отношениями. И, в-третьих, – вы, как и другие социологи и теоретики, говорите сейчас о феномене новых глобальных городов. Однако при этом мы находимся в локальной ситуации, которая нам досталось в наследство от советского типа освоения пространства, который был монументальным и идеологическим в каком-то смысле. Как сейчас это пространство меняется под влиянием глобальной тенденции?

Борис Кагарлицкий (БК): Здесь можно анализировать несколько действительно очень важных изменений качественного характера. Причем они не сводимы к тому, что может быть описано в категориях развития традиционного буржуазного общества. Основное изменение: город постепенно перестает быть «органическим» пространством. Любое общественное пространство вплоть до 70-80-х гг. прошлого века было целостным. Город представлял собой целостный социальный организм, где распределяются все общественные отношения. В нем есть пролетарские районы, бюрократия, есть буржуазные кварталы или богемные. Все эти элементы в рамках буржуазного социального устройства взаимосвязаны. В постмодернистском обществе пространство теряет целостность. Коммуницируют между собой лишь отдельные части. При этом их взаимодействие замкнуто, а открыто только внешнее пространство, находящееся далеко за пределами города. Отношение физического соседства потеряло смысл, и, что самое главное, потеряли смысл отношения социального соседства. Так, отношения эксплуатации могут связывать людей, которые находятся в совершенно разных местах, даже городах. вспомните об индийских программистах, которые работают за тысячи километров от своих работодателей из «первого мира», использующих их как дешевую рабочую силу. Причем это не имеет никакого отношения к развитию технологий, Интернету и пресловутой «глобальной деревне». Понятие «глобальной деревни» опровергается эмпирикой. Предполагалось, что если люди получают доступ к сети и виртуальным технологиям, то им все равно, где жить. Однако это технологическое развитие привело к большей демографической концентрации в отдельных местах. Если в городе есть Интернет-индустрия, туда съезжаются люди, как и на любую другую индустрию, в любой другой центр экономического развития. Расщепление пространства не связано с Интернет-технологиями. Первопричина здесь в другом – в новой структуре капитала и новом глобальном разделении труда: появляются города, где люди занимаются одним делом – банковским, например, или города, где гипертрофирована сфера услуг, и по большому счету там нет ничего больше, кроме полиции и администрации.

АП: В чем специфичность постсоветской организации пространства, есть ли она?

БК: Постмодерн западного общества вырастает из западного капитализма, если не органично, то закономерно, постепенно и «естественно». А у нас постмодернистская западная, буржуазная схема обустройства пространства накладывается на материальное, фактическое, руинированное пространство, оставшееся от советского времени.

АП: А советское пространство было органическим?

БК: Оно было абсолютно органическим. У нас не было глобального разделения труда, советская система была замкнутой и самодостаточной вплоть до 60-х гг. Теперь эти взаимосвязи распадаются, чтобы уступить место каким-то новым, которые приходят извне. Мы наблюдаем разрушение связей: социально освоенное пространство становится неосвоенным. Мы видим руины старого пространства или совокупность не вполне понятных новых пространств. Одно и то же место может быть прочитано и как руина, и как нечто новое - например, Новый Арбат (Калининский проспект) в Москве. Там меня больше всего поражает обилие казино.

АП: Одна из центральных и символических советских улиц покрывается казино как эмблемами капитала.

БК: Обладая советским опытом пространства, в таких местах не очень понимаешь, где ты находишься – все знакомые метки исчезли, практический навык расчета расстояния оказывается утраченным. Обнаруживаешь абсолютно другое пространство, совершенно хаотичное. Не говоря уже о том, что рядом со знакомым местом размещаются другие объекты, с ним не связанные. Например, разноцветные яркие рекламные баннеры и при этом отваливающийся кусок штукатурки. Видишь здание, оштукатуренное и фактически сделанное заново, около него 20 метров дороги и тротуар, которые тоже отреставрированы, а дальше начинаются ухабы. Это новый опыт атомизированного пространства.

АП: Этот распад является следствием форсированной экспансии отношений капитала в городском пространстве.

БК: Да, в условиях низкого уровня социального регулирования и кризиса национального государства, рынок становится особенно разрушительным. Поскольку это пространство социально безответственное и бесконтрольное, оно четко вписывается в старинную концепцию борьбы всех против всех. Почему, например, я не могу снести рухлядь 17 века и поставить хороший небоскреб, если это соответствует рыночным критериям эффективности? Рынок сам по себе не имеет никаких

механизмов, которые делали бы подобные решения неприемлемыми. С точки зрения рынка, если вы будете ставить вопрос о сохранении памятников архитектуры, он не решится, пока это не станет выгодно само по себе. Например, пока не снесут все памятники, а несколько оставшихся станут настолько ценны, что их разрушать станет уже нерентабельно. И даже если закон запретит разрушение конкретных объектов, он далеко не всегда сможет сохранить архитектурные ансамбли, не говоря уже об «атмосфере», культурной традиции города. Гений местности воюет с невидимой рукой рынка, и пока проигрывает. Если не будет внешнего ограничивающего фактора вне чисто экономической логики, рынок будет работать на разрушение культурных ценностей. Все погибает как некое целое, которое не сводимо к сумме частей. На понимании того, что общественный итог не сводим к сумме «частных» действий строится, как известно, вся марксистская критика рынка.

АП: Тогда получается, что все эти трансформации определяются новыми тенденциями, связанными, скажем, с глобальным доминированием финансового капитала, который безразличен к пространству, поскольку оно не входит в условия его производства.

БК: Не совсем так. Мы имеем глобальный центр силы, и локальный центр силы. Глобальный центр силы просто не способен производить улучшения локальных подсистем, он не имеет для этого подходящего инструментария. Так, Всемирный банк пытался делать социальные проекты на локальном уровне, но они проваливались. С другой стороны, у локальных центров нет желания выходить за пределы узкой сферы своего экономического интереса, в условиях, когда национальное государство находится в состоянии ослабления. Обратите внимание, что самый тяжелый период социо-культурного распада Москвы начался тогда, когда мэр города Лужков потерял надежду стать президентом страны. Из-за этого подконтрольная ему территория потеряла для него и его окружения эмоциональную связь с внешним миром. Затем начался хаос, когда различные группы интересов получили полную свободу действий. Приведу пример локальной рыночной анархии – так называемые строительные «пирамиды». Кредит на строительство оплатить вы не можете, но можно взять кредит на строительство следующего дома, еще больше. Дома растут в размерах, что мы видим наглядно. Уже никто не знает, где они остановятся, как в случае с комплексом «Вертикаль», который сам собой каким-то загадочным образом вырос на три этажа. Мистика какая-то! Мы имеем хаотическое нарастание увеличивающихся в размерах объектов, которые могут разрушиться через несколько лет. «Трансвааль-парк» мы уже видели.

АП: В хаосе оказывается не только само пространственное распределение, но и сам рост объектов. Они действительно растут как «пузыри». А можно ли говорить о замыкании, геттоизации пространства под воздействием той же логики?

БК: В полной мере все-таки нет. Тенденция есть, но советское пространство демонстрирует сопротивляемость. И мы часто видим шикарный новодел, который соседствует с абсолютно советским объектом. Геттоизация характерна не для всякой формы капитализма. Например, город в Латинской Америке, который ближе всего по структуре к европейским столицам – Монтевидео. Этот город отличается, скажем, от Сан-Пауло, тем, что мы видим вкрапление геттозированных фрагментов в достаточно благополучную среду среднего и высшего класса. Уругвайцы воспринимают это как доказательство своей более гуманной культуры – дети из разных слоев общества ходят в одну школу. У России пока есть такая же возможность, ее нельзя отрицать.

АП: Давайте обратим внимание на другие аспекты социального освоения пространства. В СССР мы видели пространства не публичные, а скорее общественные, репрезентативные. Что стало с ними сейчас, вписываются ли они в новую модель пространства?

БК: Классический пример – соотношение сталинских станций метро с бытом коммунальной квартиры. Убогость индивидуального быта должна была компенсироваться парадностью быта коллективного. Эта компенсация происходила реально на психологическом уровне, людям действительно нравились эти общественные пространства, они в них стремились. Откуда это традиционное стремление проводить в метро время, назначать в метро встречи, свидания. Кто назначит девушке свидание в нью-йоркской подземке? А у нас это и теперь достаточно типичное явление.

АП: Сейчас возникает тенденция к возрождению уличной политики. Вспомним недавние «кастрюльные бунты» пенсионеров после монетизации льгот. Они перекрывали улицы, парализуя целые районы. Новая модель пространства, навязываемая логикой неолиберальной приватизации, видимо, содержит в себе новые политические возможности.

БК: Уличные восстания во Франции до конца 19 в, включая Парижскую Коммуну, были построены на том, что существовало кольцо рабочих предместий, которые опоясывали буржуазный город. Во время восстаний они просто сдавливали его со всех сторон. Так возникли схемы мобилизации пролетариата и мелкой буржуазии через мобилизацию локальных сил. Если смотреть на географию бунтов в Париже в 2005 г., то обнаружишь, что ее география почти повторяет географию бунтов времен французской революции. Почти, потому что это уже не сами предместья, которые обуржуазились, а города-спутники, вынесенные за черту старого города как продолжение старых французских предместий. В этом смысле их география не идентична, но является органическим продолжением старой географии. В Москве таких явлений как раз нет – перемешанная и социально неоднородная Москва дает не очень хорошую картину возможностей для классовой мобилизации на локальном уровне. С другой стороны, есть новые возможности, связанные с крайне уязвимой транспортной сетью, которая легко поддается блокировке. Если вы закрываете толпой важную артерию, то

вы уже начинаете вносить элемент хаоса не только в дорожное движение, а даже в управление, потому что, например, яппи не попадут вовремя на работу, банки не проведут вовремя транзакции, потеряют деньги... Не так давно была знаменитая акция «Блокируем Лондон», когда около миллиона человек во время протестов просто блокировало деловые кварталы и там прекратилось всякое движение. Они же не били магазинов, не крушили офисы, но эти магазины и офисы начали нести убытки, потому что они просто прекратили функционировать. Следовательно, возможность парализовать элементы буржуазной системы достаточно велика.

АП: Но эти недавние события отличаются тем же характером, что и пространство, в котором они разворачивались, - хаотичностью и фрагментированностью.

БК: Здесь есть еще один очень важный момент – мы возвращаемся к структуре мелкобуржуазного бунта. Традиционно пролетарские движения были выстроены иначе. Они, во-первых, локализовались в индустриальных районах и в районах плотного заселения классово-однородной массы, которая была способна единодушно высказать общую коллективную волю. Эти движения не измеряли свою силу возможностью дезорганизовать работу неких систем, а скорее возможностью предъявить свои требования, чтобы прекратить или ослабить эксплуатацию. Каждый раз это было конкретное действие, от которого страдали конкретные капиталисты. В условиях мелкобуржуазного бунта и в новой пространственной среде, скажем, если рабочие «Ford Motors» Ленинградской области не будут ничего бить и разрушать, а просто придут и заблокируют бутики на Невском проспекте, то пострадают не хозяева «Ford Motors», а владельцы бутиков, которые, может, и не вызывают никакой симпатии... но всё же не они этих рабочих непосредственно эксплуатируют. Так или иначе, здесь мы видим гораздо более сложные взаимоотношения.

АП: Тут рождаются картины всеобщей забастовки, которая охватывает весь город.

БК: Всеобщая забастовка действительно является адекватным ответом. Действия должны быть всеобщими, чтобы быть эффективными в революционном понимании.

Потому что в противном случае мы получаем картину мелкобуржуазного бунта. Напомню банальную марксистскую истину, что мелкобуржуазный бунт – это палка о двух концах.

Мелкая буржуазия в силу своего

противоречивого характера

может быть сразу

и реакционной и прогрессивной

силой – в зависимости от того,

куда эта энергия направлена.

Отсюда концепция гегемонии

по Грамши. Гегемония состоит

в том, чтобы направить

мелкобуржуазную стихию

в то русло, в котором

она конструктивна.

В противном случае

мы получаем фашизм.

И в этом плане мы имеем

сходные по форме

выступления НБП

и АКМ. И это очень

тревожная тенденция.

АП: Характерно,

что эти акции имеют

пространственный характер,

они захватывают

какое-то пространство.

БК: Причем они захватывают чужое

пространство. Что происходит, когда

на заводе оккупационная забастовка?

Рабочие отвоевывают свое трудовое

пространство для себя, то есть они захватывают

свое пространство и делают его уже в полной мере

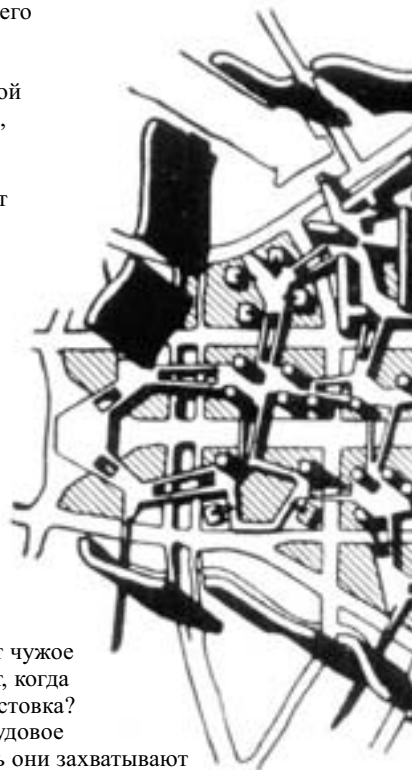
своим. А что такое, скажем, такое действие НБП как захват

администрации президента? Это уже захват чужого пространства, принципиально иной тип действия. Другое дело, что история

показывает: можно захватить не только администрацию президента, но и Зимний дворец...

АП: Здесь нужно говорить об изобретении новых технологий борьбы в городском пространстве.

БК: Уже есть, например, движение “reclaim the street” – возвратим себе улицы. На «Таймс сквер», например, на треногу садится человек с очень громкой музыкой и вокруг начинает несколько человек танцевать. Потом все больше и больше, и уже значительная часть площади просто танцует, машины не могут проехать. Нейтрализовать «зачинщика» нельзя, потому что при любой попытке тренога падает, он ломает себе шею, а полиция так действовать все же нельзя. В России я думаю, тренога упала бы за несколько секунд. И потом еще долго били бы ногами... Reclaim - это не только возвращение, это еще и притязание на то, что раньше принадлежало тебе, было у тебя отнято, и ты пытаешься вернуть его себе. И вот этот reclaim - та форма социального протеста, которая предполагает не только разрушение, захват или паралич города, но и освоение, превращение этих пространств во что-то другое. Короче, мы должны отвоевать себе пространство. Не только пространство города, но и пространство общественной жизни.



Борис Кагарлицкий (р.1958) - социолог, журналист,

Директор Института проблем глобализации,

координатор Левого Фронта

Алексей Пензин (род 1976) - философ, политический аналитик,

член рабочей группы “Что делать?”, живет в Москве

Boris Kagarlitsky – Alexey Penzin | Soviet Space Proves To Be Resistant

Alexei Penzin (AP): I would like to outline the general theme and the main questions of our conversation today. First of all, for contemporary thinking, space has long since ceased to be an abstract category of the “transcendental apparatus” of subjectivity. In the social world, it is appropriation and *produced* in different ways, depending on certain historical conditions. This concrete space – urban space, for example – is permeated by relations of power and domination. I would like to understand how space is made today, and which relations of power it contains. Second of all, if we are talking about urban space under late capitalist conditions (or “post-Fordism”), we can no longer say that production is concentrated in factories or even localized in its traditional places. The relations of capitalism extend to society as a whole, and the city itself becomes a “factory,” which is saturated by social relations, or relations of class. Third of all, you – like other sociologists and theorists – have spoken of the phenomenon of new global cities. Yet at the same time, in our local situation, we have inherited the Soviet type of appropriating and dominating space, which was monumental in its ideologization. How is this space changing under the influence of global tendencies?

Boris Kagarlitsky (BK): Here, one can discern a number of very important qualitative changes. Moreover, these changes cannot be reduced to what can be described in the developmental categories of traditional bourgeois society. The principal change consists in the fact that the *city gradually ceases to be an “organic” space*. Until the 1970s-80s, any social space whatsoever was integral and whole. The city was an integral social organism in which all social relations were distributed. It contained proletarian neighborhoods, bureaucratic institutions, bourgeois areas, and bohemian zones. In the framework of bourgeois social structure, all of these elements are interconnected. But in post-modern society, space loses its integrity. Only some of its parts communicate with one another. Moreover, their interaction is self-contained, while only outer spaces far beyond the city limits appear to be open. Relations of physical vicinity have lost their meaning. Even more importantly, the relations between



neighboring social groups have also become meaningless. Thus, relations of exploitation can connect people who are in completely different places and even completely different cities. Think of the Indian programmers who work thousands of miles away from their employers from the “first world,” who use them as a cheap labor force. This actually has very little to do with the development of technology, the Internet, or the famous “global village,” a concept which can be easily falsified through empirical observation. One assumed that if people finally gained access to networks and virtual technologies, they wouldn’t care where they lived. However, the development of technologies has led to great demographic concentrations in certain places. For instance, if a city has an internet industry, it attracts people just as any other industry attracts people to any other center of economic development. So the fragmentation of space is not connected to internet technologies. The primary cause lies in something completely different, namely in the new structure of capital and in the new global division of labor: this gives rise to cities in which people are involved in one activity, banking, for example, or cities in which the service industry is hypertrophied, so that in the final analysis, there is little more there than police and administration.

AP: What, if anything, is so specific about post-Soviet space?
BK: The post-modernity of Western society grows out of Western capitalism; while it might not be organic, it follows certain laws, and comes gradually and “naturally.” But here, the post-modern, Western, bourgeois scheme of arranging space is superimposed onto a material, factual, ruinous space left over from the Soviet period.
AP: And Soviet space was organic?
BK: It was absolutely organic. We did not have any global division of labor; the Soviet system was closed and self-sufficient well into t

he 1960s. Now, the interconnections of this self-contained system are falling apart, giving way to new relations that come from the outside. We can observe the destruction of connections: socially developed space becomes undeveloped. We see the ruins of an old space or an aggregate of new spaces that are not yet fully understandable. One and the same place can be read as a ruin and as something new. Take the New Arbat (Kalininsky Prospect) in Moscow for an example. What amazes me most here is the abundance of casinos.

AP: One of the central and most symbolic Soviet streets is filled up with casinos as emblems of capital.

BK: If you have a Soviet experience of space, you don’t really understand where you are in places like these; all familiar points of orientation have disappeared; the practical skill of gauging distances turns out to have been lost. You find yourself in an absolutely different space that is totally chaotic, not to mention the fact that there are now different objects, disconnected from what used to be a familiar place. Take, for example, brightly colored advertising banners next to a piece of crumbling façade. You see building that have been replastered and even reconstructed completely, surround by about 20 meters of sidewalks and street that have also been renovated, and then potholes. This is a new experience of atomized space.

AP: This disintegration is a consequence of the forced expansion of capitalist relations in urban space.

BK: Yes, under the conditions of a low level of social regulation and the crisis of the nation state, the market becomes especially destructive. Since this space is socially irresponsible and out of control, it clearly fits into a strange conception of a war of all against all. For instance, why shouldn’t I tear down all that junk from the 17th century and put up a nice skyscraper, if this corresponds to market criteria of effectiveness? Taken in and of itself, the market has no mechanism that that would make decisions like this unacceptable. From a market point of view, if you are going to pose the question of conserving architectural monuments, it won’t be solved until it becomes profitable in and of itself. For example, until all monuments are torn down and those few remaining monuments become so valuable that it becomes unprofitable to destroy them as well. And even if the law prohibits the destruction of concrete objects, it can hardly already conserve architectural ensembles, not to mention the “atmosphere” and the cultural tradition of the city. For now, the genius loci seems to be losing its struggle with the invisible hand of the market. Until an exterior limit beyond a purely economic logic is introduced, the market will work to destroy cultural values. Everything dies as a whole that cannot be reduced to a sum of its parts. As we know, the entire Marxist critique of the market is based on the understanding that the social sum-total cannot be reduced to a sum of “private” actions.

AP: So then it turns out that all of these transformations are determined by new tendencies, which we could say are connected to the global domination of finance capital, which is indifferent to space, because it is not one the conditions of its accumulation.

BK: Not exactly. There is a difference between global centers of power and local centers of power. The global center of power is simply incapable of producing any improvement of local sub-system since it lacks the necessary toolkit to do so. For example, the World Bank attempts to carry out social projects on a local level, but all of these projects fail. On the other hand, local centers have no desire to go beyond the limits of the narrow sphere of their own economic interests under conditions of a weakened nation state. Note that the period of the most severe socio-cultural disintegration of Moscow began when Yuri Luzhkov, the city’s mayor lost all hope of becoming the country’s president. Because of this, he and his entourage stopped seeing any emotional connection between the territory they control and the outer world. What began at this point was chaos, as different interest group gained a full freedom of maneuver. Let me give you an example of local market anarchy, the so-called “pyramid builders.” You can’t pay off a loan for construction-work, but you can borrow more money to build the next house, which will be even bigger than its predecessor. Houses are getting bigger and bigger, as we can clearly see. By now, no-one knows when they will stop, as is the case with the “Vertikal” complex, which somehow mysteriously grew by three floors all on its own. Pretty freaky! So what we have as a result is a proliferation of objects, larger and larger in size, which could easily fall apart after a few years. We already saw what happened to the swimming pool complex “Transvaal-Park.”

AP: So not only the spatial distribution of objects but their growth are subject to chaos. And really, they seem to grow like “soap bubbles.” But can one talk about the closure or ghettoizing of space as a result of the same logic?

BK: Well, not exactly. There is a tendency in this direction, but Soviet space proves to be quite resistant. And we often see some fancy remake next to another object that is totally Soviet. Ghettoizing is not characteristic for all forms of capitalism. Take, for instance, the one city in Latin America most similar to European capitals in terms of structure, Montevideo. This city different from Sao Paolo in that we can see ghettoized fragments embedded in rather prosperous middle and upper class environments. The Uruguayans understand this as proof of their more human culture; children from different layers of society go to the same school. In Russia, this is also still possible, you can’t deny that.

AP: Let’s turn to another aspect of how society claims and develops space. In the USSR, we could see spaces that were not public but that represented the common. What is happening to these spaces now? How do they fit into the new model of space?

BK: A classical example is the relationship between the metro stations from the Stalin period and the everyday life in communal apartments. The squalor of individual everyday life was to be compensated by the pageantry of collective life. This compensation really did take place on a psychological level; people really liked these common places and were drawn to them. Where does the urge to spend time in the metro come from, to arrange for meetings and dates there? Who would dream of meeting a girl for a date in the New York City subway? But here, this is a pretty typical phenomenon.

AP: At present, there is a tendency to the rebirth of street politics. Think of the pensioner’s “pan-rattling” protests at the monetization of social privileges, for an example. They flooded the streets and paralyzed entire sections of town. The new model of space, imposed

by the model of neoliberal privatization, also seems to entail new political possibilities.

BK: The street uprisings in France until the late 19th century, including the Paris Commune, were based on the fact that the bourgeois city was surrounded by a belt of proletarian suburbs. During the uprisings, they simply squeezed the city center from all sides. This gave rise to schemes for the mobilization of the proletariat and the petty bourgeoisie through the mobilization of local forces. If you look at the geography of the uprisings in Paris in 2005, you will find that their geography almost repeats the geography of the uprisings during the French revolution. Almost, because they are no longer suburbs that have become bourgeois, but satellite-cities beyond the limits of the old town as continuations of the old French suburbs. In this sense, their geography is not identical to the old geography, but represents its organic continuation. In Moscow, there are no such phenomena, in fact; the displacement and social heterogeneity of Moscow does not supply a very good image of the possibilities for class mobilization on a local level. On the other hand, there are new possibilities connected with the extremely vulnerable transport network, which is quite easy to block. If you close off an important traffic artery with a crowd, you can not only wreak chaos onto traffic, but onto the entire structure of control. Yuppies come in late for work; banks are no longer able to carry out their transactions on time and lose money... Not so long ago, there was a famous action in London, where around a million people simply blocked the business sections of Whitehall and Embankment, so that all traffic here basically stopped. The protesters did not smash shop windows or destroy offices, but these shops and offices started to lose money, simply because they stopped functioning altogether. So basically, the possibilities for paralyzing elements of the bourgeois system are quite great.

AP: But these recent events are distinguished by the same quality as the space in which they unfolded, namely chaos and fragmentation.

BK: Here, there is another important aspect that leads us back to the structure of petty bourgeois revolt. Traditional proletarian movements were constructed quite differently. First of all, they were localized in industrial neighborhoods and in areas densely populated by a socially homogenous mass capable of expressing its common collective will. These movements did not gauge their own strength in their ability to disorganize the work of sub-systems, but through the possibility of voicing their demands to stop or weaken exploitation. Each time it was a concrete action that targeted concrete capitalists. Under the conditions of petty bourgeois revolt and in a new spatial milieu, if, for instance, the works of “Ford Motors” in the Leningrad area don’t wreck or destroy anything, but simply block the boutiques on Nevsky Prospekt, it won’t be the owners of “Ford Motors” who suffer, but the boutique owners, who may not be very nice people...but still, they aren’t exploiting the workers directly in any way. One way or the other, the relationship we see here is far more complex.

AP: This gives rise to the images of a general strike that takes the entire city by storm.

BK: A general strike really is an adequate answer. Actions need to be general to be effective in a revolutionary sense. Otherwise, we will have nothing but petty bourgeois revolt. Let me remind you of the rather trivial Marxist truth that petty bourgeois revolt is a stick with two ends. Due to its contradictory character, the petty bourgeoisie can be reactionary and progressive all at once, depending on where its energy is directed. This is where Gramsci’s concept of hegemony comes from. Hegemony consists in directing petty bourgeois passions into a vein that might be more constructive. Otherwise, we get fascism. In this sense, we already have things that are very similar to fascism in terms of form, like the Avant-garde of the Red Youth, or the National Bolshevik Party. And this is a very alarming tendency.

AP: It seems characteristic that these actions have a spatial character, that they somehow capture space.

BK: What’s more, they capture spaces that are not their own. What happens when there is an occupation strike in a factory? The workers capture the spaces of their labor for themselves, making it entirely their own. But what is an action like that of the National Bolsheviks, when they take the building of the Presidential Administration? This is the capture of a foreign space, a fundamentally different type of action. Then again, as history shows, one can take the Winter Palace, and not only the Presidential Administration...

AP: Maybe we should speak about the invention of new technologies of struggle in urban space.

BK: There is already the movement “reclaim the streets,” for example. Someone balances on a big scaffold tripod structure in the middle of Times Square with very loud music, and a few other people begin to dance around him. More and more, and soon a significant portion of the people in Times Square are dancing, so that cars can’t pass anymore. It’s impossible to neutralize the “instigator,” because the scaffold tripod will fall, breaking his neck immediately, which is something the police can’t allow. In Russia, I think that the tripod would fall down within seconds. And then, they would beat up on the poor guy for hours to come... To reclaim something is not just to return, but claims something that used to belong to you, something that was taken away from you, something you are now trying to get back. So this “reclaiming” is a form of social protest that does not only presuppose destruction, the capture or paralysis of the city, but appropriation that transforms its space into something else.

In short, we need to struggle for space. Not only urban space, but the space of social life.

B. Kagarlitsky (b. 1958) sociologist, journalist, Director of the Institute of Globalization Studies (IPROG), co-ordinator of the “Left Front”

A. Penzin (b. 1976) philosopher, member of workgroup “Chto Delat?”, lives in Moscow

tranlated by David Riff

Эней спускается в подземное царство и беседует со своим отцом Анхизом, рассказывая ему о современной эпохе и о своих скитаниях, в частности о поездке в Россию.

Хор мертвых: Человек стал в новейшее время удивительно богат. Он прорыл землю своими норами, заставил ее своими муравейниками, превратил пространство в самый сложный лабиринт, в миллиарды раз увеличив его поверхность. Он построил себе «алеф» - комнатную камеру, при помощи которой можно залезать в самые потайные уголки. Российский человек особенно увлекся интерьерами – телевизор не показывает больше площадей, а показывает интерьеры, в которых заживо похоронены, мечутся герои. Реклама лекарств показывает изнутри тела, а репортажи из космоса рассказывают о новой сауне на космическом корабле.
Эней: Да, это триумф. Все выше возносятся памятники-пирамиды этого триумфа.

Хор: Раньше богатство каждого человека было ограничено рамками территории – его земли, его семьи, его работы, его национального государства. Теперь не то: теперь он ищет много маленьких мест, в каждое из которых он пролезает и сворачивается калачиком. Если раньше пирамида была только у фараона, то теперь она есть у всех и у каждого. Почти. Славьтесь, Аид, славься, Персефона!

Эней: Но те, кто богаче, у тех дома простор. Недавно в России богатый знакомый, построивший дачу, говорил мне: раньше еду на Карибские острова, чувствую простор. Теперь у меня дача такая просторная, что на островах шока не чувствую. Но зато, говорит, выхожу с работы, сажусь в машину, и сразу как дома. Прямо как Новалис говорил о философе: хочет, гад, повсюду быть дома!
Анхиз: Новая русская буржуазия как реализованная наконец философия... Но в общем, действительно, похоже, что российский обыватель охвачен какой-то манией освоения и присвоения пространства. А потом его украшения. И в этом есть какой-то очень трогательный утопизм: как раньше стремились в большую будущую страну, так сегодня каждый роет себе норку, у кого-то она попросторнее, конечно, но большинство то пятьдесят квадратных метров превращает в коммунистический рай...Или в приземистый православный храм.
Эней: Но в отличие от коммунизма или от храма, они думают, что они господа этого дома, и «одомашнивают» его. Если советская архитектура выражала бессилие человека перед техникой, отчуждение его, то сегодня строят высотные дома и украшают его забавными финтифлюшками. Тут вспоминается, что говорит Иову Бог о Левиафане: «Станешь ли забавляться им как птичкою, и свяжешь ли его для девочек твоих?» (Кн. Иова, 40, 27). Это просто наивно: потому что человек в принципе не может никогда находиться внутри места, пока он жив, по крайней мере. Обитание означает, что человек не то что даже является гостем в своем доме, но что он в каком-то важном смысле не может даже туда проникнуть, а так, в замочную скважину подглядывает и вокруг ходит. Как в телевизор. Отсюда и утопизм: можно нормально жить только в утопии, только в будущем. Поэтому, чтобы Россия по-настоящему стала обитаемой для человека страной, а люди могли действительно прижиться на своих местах, то нам нужен – не побоюсь этого слова – некий пиетет по отношению к пространству.

Анхиз: То есть некие техники дистанцирования и отчуждения.

Хор (на разные голоса):

- Они захватили общее пространство!
- Разбили на революционной площади клумбу!
- Подчинили город гигантскому государственному храму!

Эней: Да, опять вопрос в храме. Храм по латыни – templum, что значит выделенный, отделенный. В наши античные храмы никто, кроме жрецов, войти не мог, его обходили снаружи.

Анхиз: Но были и рыночные площади, где проходили собрания, и там никаких храмов уже не было.

Эней: Любой храм - это храм пространства, который хранит его обитаемость. То же и телевизор, и православный храм.

Анхиз: Тебя что, сынок, попы окрутили?

Эней: Извини, папа, знаю, что ты всегда был эпикурейцем, но пространство – вообще тема религиозно-мистическая, и в принципе последовательный материалист признавать его не имеет права. Ведь «пространство» мы воображаем себе именно в местах и вещах, куда не

можем войти. И уже это фантастическое пространство затем отражается сюда, в наши жилища. И так, есть храмы, которые собирают верующих, а есть те, которые остаются неприступными. Но любые «храмы» со временем колонизируются и становятся местами власти.
Анхиз: Тогда лучший храм – это храм разрушенный. Взорванный, например.

Хор: Проложим дороги там, где стоят стены! Человек всюду пройдет как гость! Мир хижинам, война дворцам! Слава святому Януарию!

Анхиз: Вот один наш потомок, правда афро-римлянин, Аврелий Августин, и еще один, дальний, Тони Негри, они так прямо и говорят, что человек вообще находится всегда в пути, поэтому ему нужны только хорошие дороги, купейные поезда и дешевые мотели. (Я тут в Аиде провожаю души, которые готовятся к рождению, поэтому часто болтаю с разными потомками).

Эней: Этот туристический романтизм в России проходили в 70х. «Мой друг, ты верь в дорогу». Теперь все-таки грезят о местах: не только об интерьерах, конечно, но и о райском острове на неделю. На острове ты конечно да, вроде паломника. В общем, современный человек любит и дом обустроить, и в гости сходить. А места зияют, манят со всех сторон. Если вы, наши отцы и особенно деды, соблазнялись религией больших пространств, ветром океана и так далее, то мы соблазнены религией ауры. Отражено у художника Ильи Кабакова.

Анхиз: А где же теперь большие пространства?

Эней: А большие пространства это теперь вроде как баня с пауками, темно и никого нет. Кусочки его захватываются и осваиваются небоскребами – обитаемыми храмами-пирамидами.

Хотя, конечно, в мире делаются большие дела, но они делаются тоже на экранах и пультах, через сети и тоннели, связывающие отдельные места между собой. За пультами удобно сидят операторы, в комфорте. А террористы, те, кто прорубает как раз дороги сквозь стены, они в пещерах прячутся, тоже особенно не погуляешь на вольном ветру, потому как со спутника заметят.

Анхиз: Но тогда, сынок, твое желание исполнилось: вы, потомки, создали из пространства запретный храм, куда не заходите, а прячетесь от него в домах. Квартира как конфетка, а на лестнице помойка. Чем не культ пространства?

Вот она – ирония диалектики. Жалуетесь, что нет открытого пространства, что нет больше пустого, что все приватизировано – значит, молодцы, вы полностью его освободили, да еще со спутников смотрите, чтобы никто в него не выходил.

Да и само пространство столь огромно, что лишает вас сил, размазывает вас по свету, так что вы только и думаете об отдыхе. Оно само превратило вас в своих простертых рабов.

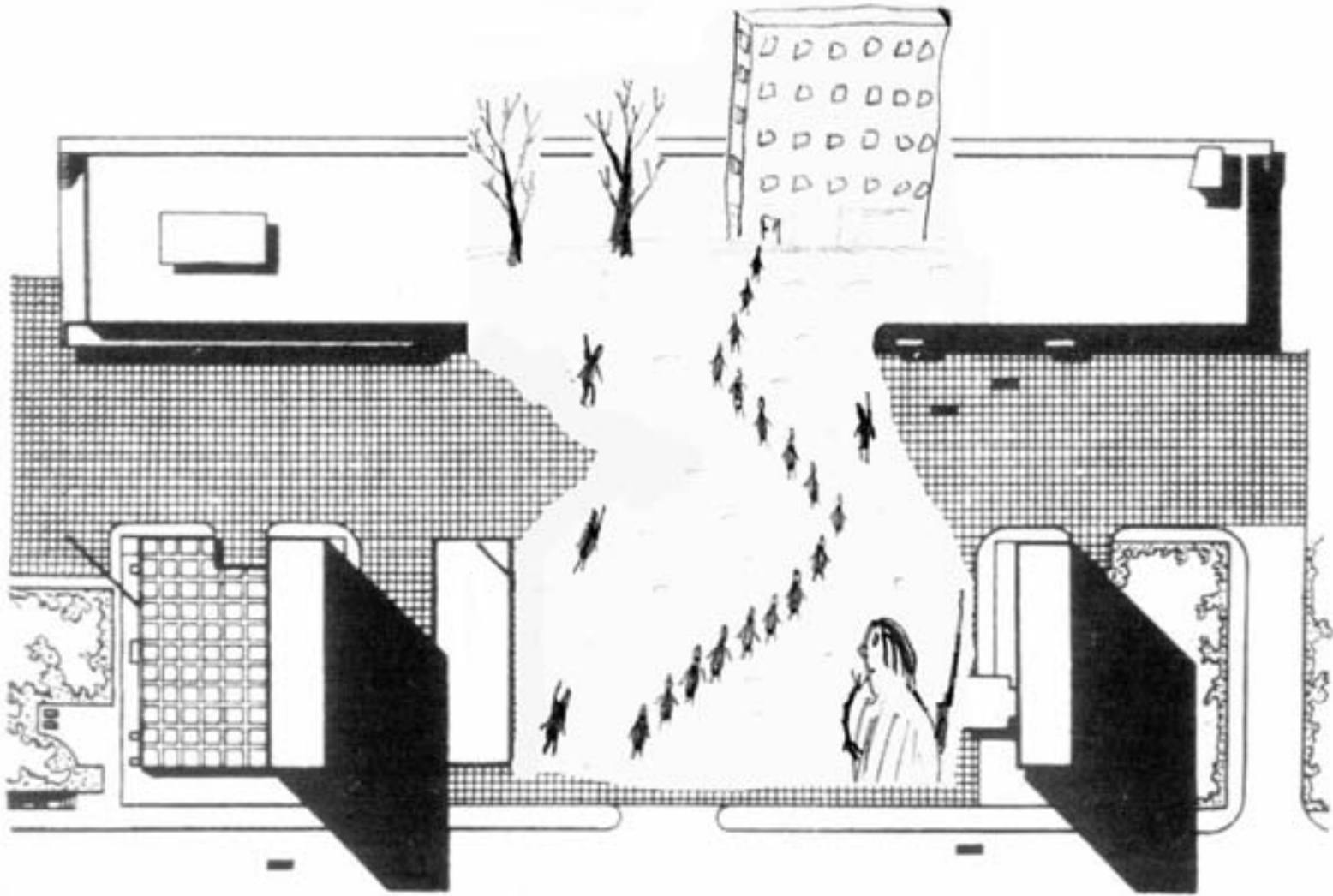
Эней: Ну да, но потому что сейчас это все-таки такая охраняемая религия, религия с богом-сторожем.

Анхиз: Ну а что же тогда делать? Заповедники создавать? Беловежскую Пушу? Ты мистик и обскурантист, говорю тебе как душа много повидавшего человека!

Хор: Много построил человек, и много разрушил! Многих распластал и перед многими простерся!

Но не за это любим мы его по-прежнему, а за то, что он утопичен. Быть утопичным – значит не просто сбрасывать многое в одно место, а значит сводить вместе противоположные полюса, сочетать несочетаемое. Коня с ланью, суверенитет с демократией, изобретательность и бессилие, господство и рабство. Не в смысле примирения, а в смысле сочетания рядом. Только такой, невозможный образ может открыть неохраняемое пространство (другое пространство, пространство раскола и перепада), потому что он не втягивает и не выталкивает, а диктует переворачивающую, революционную деятельность. Эта не означает, что утопия будет «достигнута», но что она устанавливает утопически-революционный способ обитания в стране. Не пиетет нам нужен, а верность мучительной мечте.

Артем Магун (род. 1974) - философ, живет в Петербурге, член рабочей группы “Что делать?”



ARTEMY MAGUN | ANOTHER SPACE / *A Little Tragedy*

Aeneas descends into the underworld and talks to his father Anchises, telling him about the modern age and about his wanderings, including a recent journey to Russia.

Chorus of the dead: Men have lately become astonishingly rich. They have dug holes throughout the Earth, covered it with their anthills, and turned space into a complex labyrinth, increasing its surface billions of times. They have built themselves an aleph—a camera in a room with which they penetrate the most hidden corners of the world. The Russian people are particularly obsessed with interiors. The TV there doesn’t show public squares anymore, but interiors where the heroes dash about, buried alive. Advertisements for medicine show the recesses of the body, and reports from outer space tell of the new sauna on board the spaceship.

Aeneas: Yes, it is a triumph. The monumental pyramids of this triumph rise higher and higher.

Chorus: Earlier, the wealth of each man was limited by a territory—by his land, by his family, by his work, by his nation-state. Now it’s different: he looks for many small places, and into each of them he penetrates and curls up into a ball. In earlier times only the pharaoh had a pyramid, now everyone has one. Or almost everyone.
Long live Hades! Long live Persephone!

Aeneas: But those who are richer have spacious homes. Recently in Russia, a wealthy acquaintance of mine, who had just built a country house, told me, “Before, I would go to the Caribbean and sense the wide open space. Now, I have a country house of such size that I don’t feel any awe when I go to the islands. But the good thing is, I leave work, get into my car, and I’m immediately at home!” It’s just as Novalis said of the philosopher: he wants to be at home everywhere.
Anchises: So, the new Russian bourgeoisie is the fruition of philosophy.
But yes, indeed, it looks as if the common Russian is possessed by a mania for assimilating and appropriating space, as well as for adorning it. There is a touching utopianism in this: earlier, people aspired towards the big country of the future; now, everyone digs themselves burrows. Some are more spacious than others, of course, but most people turn their fifty square meters into a communist paradise. Or a low-vaulted Orthodox temple.
Aeneas: But as wasn’t the case with communism or the temple, they think they are masters of these houses: they try to “make them homey.” While Soviet architecture expressed men’s impotence in the face of technology, their alienation, today they build tall apartment buildings and adorn them with amusing trifles. One remembers what God tells Job about Leviathan: “Shalt thou play with him as with a bird, or tie him up for thy handmaids?”
This is simply naïve: human beings can never be inside a place, at least as long as they’re alive. Dwelling means not only that human beings are guests in their homes, but also that in a sense they can’t even enter them. All they can do is look through the keyhole, as into a TV set.
Hence, the utopianism: one may live well only in a utopia, only in the future.
Thus, for Russia to become a livable country, where humans could actually feel at home, we need a certain piety---I’m not afraid to use this word—with regard to space.
Anchises: That is, some techniques of distancing and estrangement.

Chorus (several voices):
—They seized the common space!
—They planted hedgerows on the revolutionary square!
—They subordinated the city to a giant state church!

Aeneas: Yes, again it is the question of the temple! *Templum* means “separate,” “carved out.” No one could enter our ancient temples but the priests—one could only walk around them!
Anchises: But there were market squares, where assemblies took place, but there were no temples there.
Aeneas: Any temple is a temple of space, which preserves its habitability. Just like a TV set, just like an Orthodox church.
Anchises: Have the priests seduced you, my son?
Aeneas: Sorry, dad! I know you’ve been always an Epicurean, but space is in general a religious and mystical concept, and a consistent materialist doesn’t have a right to recognize it. We imagine “space” in the places and spaces we cannot enter. And then this fantastic space is projected back here, into our dwellings.
So there are temples that bring together believers, and there are some that remain impenetrable.

But all “temples” are eventually colonized and become places of power.
Anchises: Then the best temple is a ruined temple. One that’s been blown up, for instance.

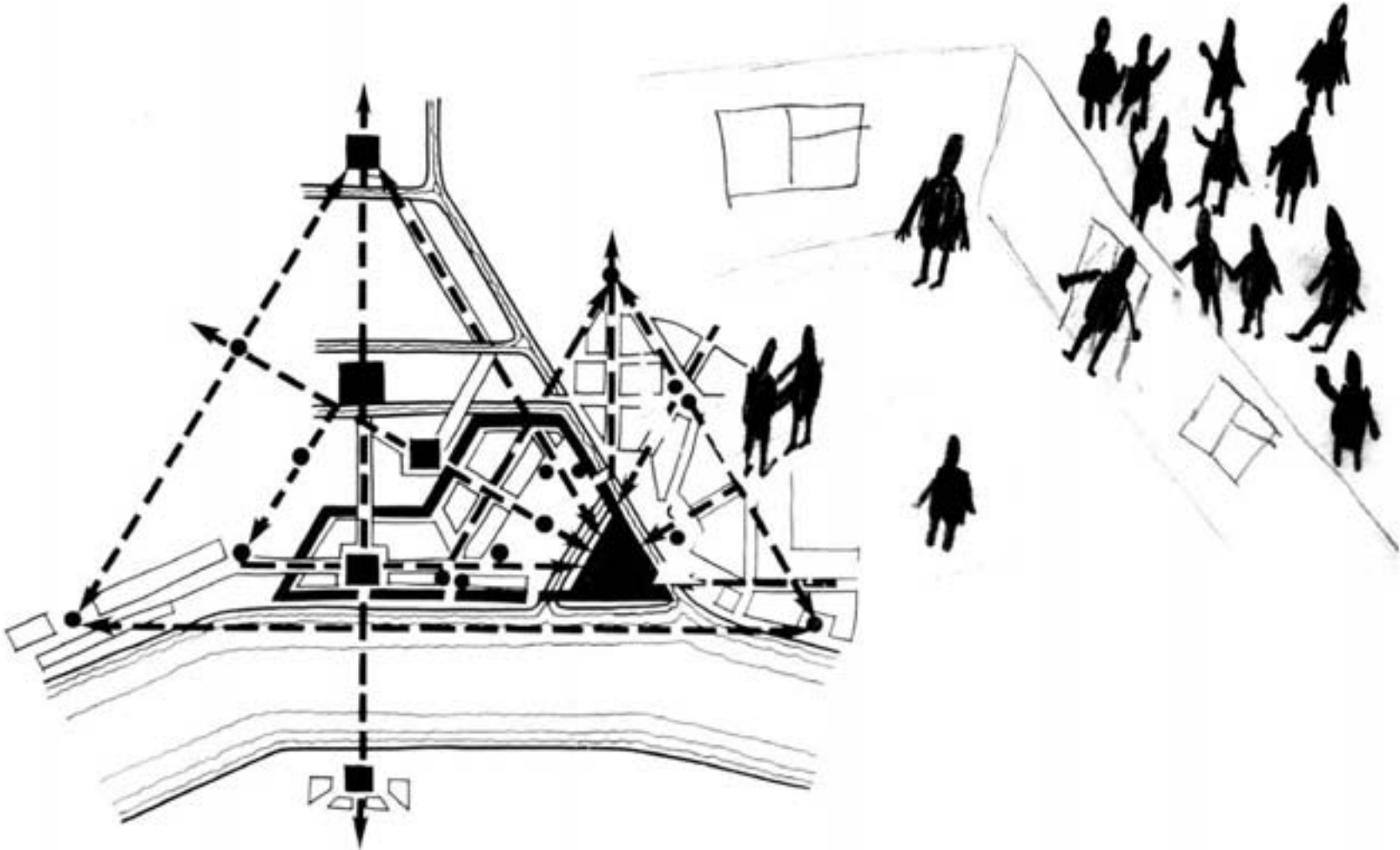
Chorus: Let us build roads instead of walls! Men will everywhere come as guests! Peace to the huts, war to the palaces! Glory to Saint January!

Anchises: One of our descendants, an Afro-Roman, Aurelius Augustine, and one more, a distant one, Tony Negri—they say outright that men are always on the road: they only need good roads, sleeping compartments, and cheap motels. (Here in Hades I accompany the souls that are preparing for birth and chat with my descendants.)
Aeneas: In Russia, they had enough of this travel romanticism in the 1970s. “My friend, believe in the road.” Now, they dream rather of places: not only interiors but of a week on a paradise island. On an island you are indeed like a pilgrim.
Contemporary man wants both to decorate his house and go visiting. And places gape and beckon from all sides. You, our fathers and grandfathers, were seduced by the religion of large spaces, the ocean wind and so forth, and we are seduced by the religion of the aura. See Ilya Kabakov’s installations.
Anchises: Where are the large spaces, then?
Aeneas: Large spaces are now something like a bathhouse with spiders—dark and empty. Its pieces are captured and appropriated by tall buildings—inhabited temple-pyramids.
Though, of course, big deeds are done in the world, they also are done in front of screens and behind control boards, through networks and tunnels that connect separate places with each other. The workers are comfortable at their control boards. And terrorists, those who smash through walls, they hide in caves. They also cannot walk in the wind—the satellites hunt them.
Anchises: But then my son, your desire is fulfilled. You, our descendants, have created a taboo temple out of space: you don’t go inside it, but hide from it in your houses. Your apartments are nice and tidy, but the stairways are covered with shit. What can you call this but a cult of space?
This is the irony of dialectics. You complain that there is no open space, that there is nothing empty anymore, that all is privatized. Well, very good, so you liberated it entirely, and watch from satellites so that no one breaks in.
Space itself is so enormous that it deprives you of strength and scatters you throughout the world, and so that all you think of is rest. Space has turned you into its submissive slaves.
Aeneas: Yes, but that’s because our religion is one that’s protected, with a god who’s a guard.
Anchises: Well, what is to be done, then? Create national parks? You’re a mystic and an obscurantist! I’m telling you this as the soul of a man who saw much in his life.

Chorus: Men have built much and destroyed much! They have forced many to their knees and themselves sprawled at the feet of many!
But we love them not for this, but for the fact that they are utopian!
To be utopian means not to throw everything into one place, but to bring contradictory poles together, to combine what cannot be combined: sovereignty and democracy, resourcefulness and powerlessness, mastery and slavery. Not in the sense of reconciliation but in the sense of coexistence, side by side. Only such an impossible image can open an unguarded space (the other space, the space of rupture and potential difference) because it does not attract or repulse, but dictates transformation and revolution. This does not mean that utopia will be reached, but that it establishes the utopian-revolutionary mode of dwelling in a country.

We need not piety but fidelity to an agonizing dream!

Artem Magun (born 1974) - philosopher, lives in St. Petersburg, member of workgroup “Chto Delat?” translated by the author (edited by Thomas Campbell)



Дмитрий Воробьев – Дмитрий Виленский

Reclaim your space! или Диссидентство по-новому!

ВОЗМОЖНОСТИ

Дмитрий Воробьев (ДВ): Мне хотелось бы обсудить различные тактики присвоения пространств, которые на нашей памяти оказались востребованными в нашем городе, среди творческой молодёжи и художников. Это не только мимолётный захват - уличный перформанс, пикет, самостоятельные фестивали, культура граффити и стикеров, политическая демонстрация - но и попытки закрепиться в захваченном пространстве – от сквота до альтернативное кафе, клуба или независимого центра искусства. А вот некоторые формы известны нам только из западного контекста...

Виленский Дмитрий (ВД): какие например?

ДВ: так называемый sit-in, когда, к примеру, студенты захватывают университет для ведения переговоров, или же разрастание одного сквота в район альтернативной культуры...

ВД: С sit-in ты прав – даже этот термин не распространён. Хотя мы организовали нечто похожее на выставке Марата Гельмана “Питерские” в Москве. До этого были только интервенции – как у Бренера – ворваться, сделать фотографию или видео на фоне исторических реликтов советской эпохи, набить морду, что-то прокричать и бежать сразу, либо получить пиздюлей. А sit-in как интеллектуально–диалоговая форма (пере)захвата пространства власти с целью вынудить её пойти на диалог по другим правилам у нас действительно не практиковался. В свою очередь, я хотел бы тебя спросить, как социолога, почему все эти практики не получили широкого распространения в пост-советское время? Примеры противостояния, создания своего пространства появились, но почему их так мало?

ДВ: По сравнению с советским временем, сейчас стало свободнее дышать, но воздух как бы кондиционируется – отнимается сама возможность помыслить, что можно выступить в публичном пространстве коллективно. В наследство от советского времени нам досталась не только всем известная шутивая формула “инициатива – наказуема”, но и неприятие коллективных форм действий. К тому же “альтернатива” сейчас поставлена на поток. В отличие от 60-х годов, быть “стилягой” сейчас не опасно, наоборот, не быть им – не престижно. Но не все альтернативные стили консьюмеризированы. В нашей стране есть многочисленные субкультуры, которые практически невидимы в публичной и поитической сферах, наиболее радикальная, но и малочисленная из них – DIY (сделай сам). Идея же покушения на пространство, о которой мы говорим, сейчас просто табуирована. И в прошлом были считанные единицы подобных практик, но каждая из них, если не сформировала, то значительно усилила позиции субкультур... Можно сделать некое руководство, manual “Что делать в городе”. Это мог быть и путеводитель по странным местам, альтернативным клубам, а также каталог идей – что из, казалось бы, невозможного, можно сделать в городе, как использовать его не по назначению. Можно конденсировать практики виртуального мира, сделать quest в реальной жизни, игру, которая может преобразить не только отношение к городу, но и сам город. Делать подобную книгу на основе опыта “пространственного хакерства” очень опасно. Здесь, как раз, возникает прямая параллель с тем, как создавалась “хроника текущих событий” – периодика самиздата... Сбор материала, создание утопий и их проверка позволят познать пределы возможного.

ВД: Отличная идея для нашего издания. Когда мы говорим о ситуации с пространством, когда мы говорим про возможности и невозможности, надо говорить о примерах. Анархо-панки захватили этаж здания – сквот “Клизма Капитализму” – и сразу же многим стало ясно: “ага, это возможно!”. И вот уже те, у кого ещё осталось воображение, бредят созданием сквотов, гуляют по городу, высматривая пустующие места. Так же и в пространстве культуры, мы очень надеемся, что пример нашей группы “Что делать” покажет, что многое возможно. Самоорганизоваться, издавать газету, делать вылазки в институциональные пространства, устраивать свои боижения в их рамках, опять отступать и появляться в другом месте – всё это реально, и мы можем поделиться опытом. Но часто создается ощущение, что это мало кому нужно – гораздо понятнее замкнуться на самих себя, в комфортной изоляции. Признаюсь, меня часто смущает в альтернативных культурах, при всём их внешнем пафосе, их некая конформистская уютность. К тому же, слишком часто субкультурная автономия и автономия искусства со временем перенимает традиционные, уже сложившиеся отношения к власти и к пространству. В результате получается искусство для искусства, ещё один клуб для друзей. Всё это очень мило, но...

АВТОНОМИЯ ИЛИ РЕЗЕРВАЦИЯ?

ДВ: Подожди-ка, тут не так всё просто. Кто сказал, что плохо, когда создаётся автономия? Это великолепно. Дело в том, что со временем подобные инициативы либо распадаются, либо институционализируются, это почти закон. Что происходит, если пространство захвачено, и удерживается? Удерживается или нелегально, как сквоты анархо-панков, или же стремится к легализации, как Пушкинская 10. Тогда неминуемо рождается институт, появляется организационный аппарат и бухгалтерия, вырабатывается фрейм – “кто мы”. И вот уже мы видим почтеннейшее заведение, или, как минимум, ту маску, которые они вынуждены создать для удержания захваченного пространства. А охранные стратегии позволяют выживать во всё ещё чуждом контексте, это самоограничение превращает их в резервации культурной жизни.

ВД: Можем ли мы сказать, что живут и развиваются только те зоны, которые открыты и осознанно сохраняют свою внешнюю и внутреннюю конфликтность? Любое захваченное пространство мне интересно тогда, когда оно стремится к экспансии и трансформации. Любое захваченное пространство, новая инициатива обретают значимость тогда, когда они стремятся к экспансии и трансформации. Важен момент глобализации - для меня это означает принципиальную неинтересность мест, не вписанных в международный контекст.. Но это тоже надо брать как проблему, а не предаваться эйфории – ах, мы создаем такое важное интернациональное пространство, а при этом у нас три человека местной публики, на которую мы уже давно не успеваем обращать внимания, так как наше рабочее пространство в самолете и в гостинице. Всё существенное сегодня происходит в поиске баланса взаимодействия локального пространства с интернациональным.

ДВ: Но, давай вернёмся к нашим реалиям. Сейчас бывший сквот на Пушкинской 10 стал “культурным центром”. По-твоему, они зеркалили официальные институты, к примеру, Союз художников. Но могло ли получиться что-то другое?

ВД: Сложный вопрос – думаю, что да. Мне кажется, что множество альтернатив действительно исчезают и физически и из нашей памяти. Собственно, это более широкий вопрос: почему мы упустили множество возможностей, которые возникли в момент перестройки? Пушкинскую проще оценить. Она довольно типично застолбила место – вот наше пространство, вот этот двор, мастерские, пара галерей – мы закрепились, эта граница закреплена договором с внешним миром (в лице мэрии), и мы не отступим ни на пять от этой границы, но и не будем распространяться, потому что есть договор. Есть соблазн сказать, что любое настоящее живое пространство, живо только в момент захвата и переопределения. Так происходит тактическое действие. Это не администрирование власти, а постоянное становление и скорее спор, чем закрепление.

ДВ: Но, есть и другая сторона – не будем забывать о совокупном воздействии множества инициатив, пусть, по-твоему, и не раскрывших потенциал. Преодоление некой критической массы, создаваемой захватами и укреплениями в пространстве, приводит к качественным сдвигам. У нас пока явная нехватка этой критической массы. В итоге, в так называемой “культурной столице” нет ни молодёжных районов, ни социальных центров, связанных с культурной жизнью.

Dmitry Vorobjev – Dmitry Vilensky

Reclaim Your Space or, the New Dissidence

POSSIBILITIES

Dmitry Vorobiev (DV): I would like to discuss tactics for appropriating spaces that, in recent memory, have proven viable among creative young people and artists in our city. I have in mind not only temporary take-overs—street performances, pickets, grassroots festivals, graffiti and sticker culture, political demonstrations—but also attempts to secure reclaimed spaces—from squats to alternative cafes, clubs, and independent art centers. Other forms we know of only from the western context . . .

Dmitry Vilensky (VD): Like what?

DV: Like sit-ins, for example, when students take over a university as a way to negotiate with authorities, or when one squat grows into an entire alternative neighborhood . . .

VD: You’re right about sit-ins: even the term itself isn’t widespread. Although we organized something of the sort during Marat Guelman’s *Petersburgers* exhibition, in Moscow (at the 2005 Art Moscow fair). Before that there were only interventions, like Alexander Brenner’s: you break into a place, take pictures or make a video against the backdrop of some Soviet-era holy relics, punch someone in the face, yell some slogans, and then make tracks, or get the shit beat of you. The sit-in—an intellectual form of (re)claiming space whose goal is to force power to enter into a dialogue with different rules—is something that really hasn’t been practiced in Russia. But I wanted to ask you a question as a sociologist. Why haven’t all these practices been more widely employed during the post-Soviet period? Examples of resistance, of creating one’s own space, are out there, but why are there so few of them?

DV: Compared to the Soviet period, nowadays there is more breathing room, but the air conditioners have been turned on, so to speak: the very possibility of thinking about acting collectively in public space is being confiscated. As part of our legacy from the Soviet era we’ve inherited not only the notion that “personal initiative is punishable by law,” but also an aversion to collective forms of action. Plus, “alternative” everything is now mass produced. Unlike in the 60s, being a *stilyaga* (a “mod”) isn’t dangerous; on the contrary, it’s not cool to not be one. But not all alternative styles have been consumerized. In our country there are lots of subcultures that are practically invisible in the public and political sphere; the most radical but also the least well-represented of these is DIY culture. The very idea of reclaiming space that we’ve been talking about is now simply taboo. In the past, such practices were also few and far between, but each of them either formed or significantly fortified the subcultures. . . . We could compile some kind of user’s guide, a manual entitled *What to Do in Petersburg*. This might be a guidebook to weird places and alternative clubs as well as a catalogue of ideas—what seemingly impossible things you can do in the city, how you can use it in ways it isn’t meant to be used. One could condense virtual-reality practices, turn real life into a quest, a game that changes not only one’s take on the city, but the city itself. It’s quite risky to base a book like this on the practice of “spatial hacking.” It’s precisely in this instance where a direct parallel emerges with the way *The Chronicle of Current Events* and other samizdat periodicals were put together. . . . Collecting material, creating utopias, and trying them out will enable us to map the limits of the possible.

VD: That’s a great idea for our newspaper. When we talk about the situation with space, about the possible and the impossible, we need to talk about concrete examples. A group of Petersburg anarcho-punks reclaimed an entire floor of a building—the Give Capitalism an Enema squat—and right away a lot of folks realized that it was possible. And so now those people who still have some imagination are crazy about setting up squats: they wander the city checking out abandoned buildings. Likewise, we really hope that the example set by our What Is to Be Done working group will show that many things are possible in the cultural field. You can self-organize, put out a newspaper, make raids into institutionalized spaces, run your own events within their framework, and then fall back, only to pop up again somewhere else. All of this is realistic, and we’re ready to share our know-how with others. But I often get the feeling that few people care about all this: it’s a lot easier mentally to keep to yourself, to retreat into cozy isolation. I have to confess that I’m often disturbed by how alternative cultures, for all their superficial bravado, are really committed to comfortable conformity. Plus, all too often autonomous subcultures and autonomous artists end up adopting traditional, tried-and-true attitudes to power and to space. You wind up with art for art’s sake, one more club of friends. It’s all very sweet, but . . .

AUTONOMY OR RESERVATION?

DV: Wait a minute, it’s not that simple. Who says that autonomy’s a bad thing? It’s magnificent. It’s almost a law that, with time, all such initiatives either collapse or institutionalize. What happens when you’ve reclaimed a space and have managed to stand your ground? You either keep standing your ground illegally, like the anarcho-punks, or go legal, like the Pushkinskaya-10 art center (in downtown Petersburg). Then an institution inevitably emerges: administrators, accountants, a structure for determining who “we” are. And now they’ve got a wholly respectable establishment on their hands—or, at minimum, they’re forced to wear a mask in order to keep their grip on the space they’ve reclaimed. Defensive strategies make it possible to survive in a sociopolitical environment that’s remained alien, and this self-limitation turns such spaces into reservations of culture.

VD: Can we say that the only zones that are alive and kicking are the ones that stay open-ended and thus consciously preserve their internal and external conflicts? Any reclaimed space or new initiative becomes significant only when it tries to expand and transform. The moment of globalization is vital. What this means to me is that places that aren’t integrated into the international context are uninteresting by definition. But even this has to be approached as a problem, not a cause for euphoria: alas, we’re creating this super-duper international space, but at home we have an audience of only three people, with whom we haven’t connected in a long time because our workspace is a series of airplane seats and hotel rooms. Everything essential that’s happening today is in this search for a balance between local action and international cooperation.

DV: Let’s get back to our local realities. The former squat at Pushkinskaya-10 has now become a “cultural center.” As you see it, they’ve mirrored official institutions like the Union of Artists, for example. But could something different have come of this?

VD: That’s a tough question. I think it could have been different. A lot of alternatives really do vanish both physically and from our memories. In reality, the question is bigger: why did we let slip a number of possibilities that arose during perestroika? It’s easier to assess Pushkinskaya. They staked out a place in a fairly typically way. This is our space: this courtyard, these studios, these two or three galleries. We’ve set up shop, the boundaries of our space are determined by agreement with the outside world (the mayor’s office), and we’re not going to yield an inch of our territory, but we’re not going to expand, either; we have an agreement. It’s tempting to say that any genuinely vital space is alive only when it’s being reclaimed and redefined. So we’re looking at a tactical move: not administration, but constant evolution; not incorporation, but contestation.

DV: But there’s another side to this. We shouldn’t forget about the net effect created by a multitude of initiatives, even if, as you see it, they haven’t realized their potential. Qualitative shifts occur once the number of reclaimed and consolidated spaces reaches a certain critical mass. Here in Petersburg it’s clear we haven’t yet reached this critical mass. And so, in Russia’s so-called cultural capital, there aren’t any youth neighborhoods or culture districts.

EXODUS

VD: When it comes to spaces, what’s important to me is the moment of negating the status quo. This sort of situation obviously has something in common with the experience of Soviet dissidents. In their code of honor there was an article about refusing to cooperate with the system. This position is unworkable today if only because any action is possible only within social relationships, and that always means being involved with the already-existing forms of power and capital. But the possibility always remains of refusing to enter into a normalized space. This exodus contains a moment of

ИСХОД

ВД: В вопросе о пространствах для меня важен момент негации, отрицания, сложившегося статус-кво. Подобное состояние явно перекликается с опытом советских диссидентов. В их кодексе чести был пункт отказа от сотрудничества с системой. Сегодня подобная позиция не применима, хотя бы потому, что любое действие возможно только в социальных отношениях, а это всегда отношение *с уже существующими* формами власти и капитала. Но всегда остается возможность отказаться от входа в общепринятое и нормализирующее пространство. В подобном исходе есть момент неизвестности, когда ты уходишь неизвестно куда. Конечно, это звучит романтично: открытость к странствию, к свободе.

ДВ: ... “а мы едем, а мы едем за туманом, за туманом и за запахом тайги...” В советское время многим было ясно, откуда уходить, куда и зачем. В лесу у костра снимались разделения начальник-подчинённый, можно было не бояться, что тебя подслушают... Сейчас наш Неуловимый ковбой Джо (помнишь этот анекдот — он не уловим, потому что на фиг никому не нужен) может “жить не по лжи”, но кому до него есть дело? Более того, раньше существовал санитарный кордон между тем, что можно было говорить, а что нельзя. Власть каждый раз жёстко реагировала, когда диссиденты пересекали этот кордон. А сейчас: хочешь уйти — уходи, никто не заметит. Закричишь — никто не услышит. Неуловимый ковбой — это состояние диссидента, в новом мире. Он отмечен не-интересностью для властей. Как возможен «исход», который будет замечен? Или это ещё один миф? Миф о бессмысленности прямого действия, когда тебя не примут всерьёз?

ВД: Но мне опять кажется, что мы говорим о разных вещах — ты описываешь сейчас ситуацию “мягких” субкультур. Давай всё-таки не забывать, с какой жестокостью пресекается у нас любая несанкционированная деятельность, которая позиционирует себя политически. Как разгоняются пикеты и демонстрации, как милиция вместе с нацистами громит сквоты анти-фашистов, какой прессинг оказывается на независимые профсоюзы и журналистов. Неуловимый ковбой — это не знак исхода, в нём нет отрицания существующего.

ОТВРАЩЕНИЕ

ВД: Если оглянуться вокруг, то сразу становится ясно, что мир устроен довольно отвратительно. Но почему в массах, угнетённых капитализмом, нет отвращения? Тем более, в сравнении с пережитым опытом тоталитаризма, сейчас стали возможными базовые формы демонстрации протеста и появились новые технологии для их выражения, но все равно несмотря на вопиющую несправедливость возникает ощущение, что все всем довольны...

ДВ: Смотря о каком роде изменений мы говорим. Примеров противостояния и создания своего пространства у нас в стране сколько угодно. Если речь идёт об угнетённых, то они давно уже, не ожидая призывов со стороны, захватывают пространство, в частности, избивая или убивая чужаков, или взямая с них дань за нахождение на их территории. Этим у нас, как и в других странах, занимаются гопники, молодые безработные, которые геттоизируют районы своего проживания, а именно, “контролируют” парки, убивают чёрных, грабят средний класс, воруют скамейки и прочее. А среди артистических и молодёжных тактик захвата пространства, с перечисления которых мы начинали разговор, действительно мало подвижек. Возможно многое, но что-то должно подтолкнуть на действие. Ты говоришь про отвращение от происходящего. Но и с этим не так то всё просто, вот пример. Наша общая знакомая Лиза время от времени водит экскурсии. Выходит однажды она с группой на Невский проспект, и экскурсанты ей говорят: “ах, как здесь красиво”. Лиза им отвечает: “Что вы! Да вы с ума сошли! Здесь ужасно! Посмотрите как всё мерзко кругом”. Она видит. Они не видят.

ВД: Это иностранцы?

ДВ: Это наши студенты, молодежь, они были в восторге — снег, красиво, Невский...Экскурсия продолжилась. “Смотрите, — говорит им Лиза, — с правой стороны, и с левой тоже, пространство для шоппинга, дорогие рестораны, тут грязь, обратите внимание на дикое количество машин — почувствуйте запах, а вот нищие люди”. Через час некоторым студентам стало очень плохо. Рухнул их некий виртуальный мир, картинка из рекламного календаря превратилась в кошмар. Очень сложно научить воспринимать это пространство как отвратительное. Но я Лизу понимаю, думаю, что тошнота — это философская практика, нужно долго практиковаться, что бы её постичь.

ВД: Я согласен с тобой, момент политического просвещения очень важен. Но отвращение — это соматическое чувство. Можно ли ему научить? Да, можно научить различным методам анализа пространства, показать, насколько его конструкция носит политический характер, но может ли это привести к отвращению от капитализма? Давай подумаем, а с чего собственно начинается *другое* пространство? Здесь я согласен с Джоном Холлоуэй, что в начале любой субъективности лежит крик, он может быть наивен, уродлив, но именно он заполняет это пространство. Можно ли научить людей кричать? Думаю, что здесь мы почти бессильны и именно в этом основная проблема: каждый должен прийти к этому сам. Так же и протест начинается на неком соматическом уровне: “я больше так не могу, мне нужен воздух, мне нужно пространство!” Дальше вступает в действие психологический эффект одиночного крика, когда его подхватывают другие люди, и лишь после этого, этот конкретный хор уже можно записать, организовать, его можно оформить, его можно репродуцировать. Но почему нет крика? То ли все довольны, то ли современный капитализм научился нейтрализовать крик в зародыше?

ДВ: Если говорить о “всех”, то у нас крик очень даже слышен. Люди кричат и вызывают к властям, чтобы власти хоть немножечко выполняли свои обязанности, которые берут на себя по уходу за пространством и его преобразованию. Но власть занята своими делами, ей нет дела до грязи во дворах. Это и волнует людей больше всего. Когда все силы уходят на подобный крик, их не остаётся на более существенное политическое действие. А нейтрализация крика и изменения, как ты говоришь, на соматическом уровне, возможны и под воздействием идеологии, тому пример биополитика. Посмотри, что сейчас происходит: “Подмышки не должны пахнуть, это стыдно! Без жвачки у тебя выпадут зубы!”. Почему нет крика? По Альтюссеру, это поработали аппараты подавления, те самые, которые умышленно и невольно производит власть. Эти аппараты обучают тому, как нужно смотреть на происходящее так, что бы не замечать отчуждения, быть довольным конформистом, пользоваться пакетом готовых схем мировоззрения. В результате этот нелепый мир кажется естественным. Но так ли он силён, этот мир праздничного идиотизма? Кто знает, может быть, его перевернёт маленький мальчик словами “А король то — голый”, или хитроумный заговор или тотальное высмеивание. Может сейчас это не сработает, капитализм защищён от критики со стороны здравого смысла (читай Славоя Жижека). Когда на лицо значительный разрыв между самопрезентацией власти и тем, что происходит в действительности, стоит вернуться к проверенным временем идеям теоретика и стратега политической борьбы Грамши, или к диссидентским практикам.



unknowability, the moment when you don’t know where you’re going. Of course, it sounds romantic: the freedom to roam.

DV: “And we’re traveling, and we’re traveling for the fog, for the fog and the scent of the taiga.” During Soviet times many people were clear about what places to leave, where to go, and what you’d find there. In the forest around the campfire the gap between boss and employee disappeared. You could stop being afraid that you were being spied on. . . . Today our elusive Cowboy Joe (remember that joke? he’s elusive because no one wants to catch him) can, *à la* Solzhenitsyn, “live in the truth,” but who gives a hoot? Moreover, there once was a sanitary cordon between what you could say and what you couldn’t. The authorities reacted severely every time the dissidents tried to cross that line. But if you want to drop out nowadays, go ahead and drop out: no one will miss you. Scream as loud as you like: no one will listen. The lonesome cowboy is a metaphor for the condition of the dissident in our new world. He’s marked by power’s absolute indifference to him. Is an “exodus” that will be noticed possible? Or is that one more myth? A myth about the senselessness of direct action, that you won’t be taken seriously?

VD: It seems we’re talking about different things again. You’re describing the situation of today’s “soft” subcultures. Let’s try and not forget the viciousness with which any kind of unsanctioned political activity is shut down in Russia. The way pickets and demonstrations are broken up, the way the police raid anti-fascist squats with help from the fascists, the unbearable pressure that independent trade unions and journalists face. The lonesome cowboy isn’t a symbol of exodus: he doesn’t represent a negation of existing conditions.

DISGUST

VD: If you look around it’s immediately clear that the way world is set up is quite disgusting. But why do people oppressed by capitalism not feel disgusted by it? Especially when you consider that, in comparison with the now-past experience of totalitarianism, basic forms of protest have become possible as well as new technologies for communicating that protest. Despite the glaring injustice, however, you get the feeling that everyone’s satisfied with everything. . . .

DV: It depends on what changes we’re talking about. There are tons of examples of people resisting and making their own spaces in this country. If we’re talking about the oppressed masses, then without any outside encouragement they’ve long ago begun reclaiming space—in particular, by beating or killing outsiders, or extorting tribute from them for the privilege of being on their turf. Just like in other countries, this is the work of mooks and young unemployed men, who turn their own neighborhoods into ghettos by “patrolling” the parks, killing dark-skinned people, mugging the middle class, trashing park benches, etc. Meanwhile, there’s been little progress in terms of the artistic and progressive-youth tactics for reclaiming space that we listed at the beginning of our conversation. Lots of things are possible, but something has to spur people into action. You talk about being disgusted by what’s happening. But even here things aren’t so simple, and I’ll give you an example. Our mutual acquaintance Liza works as a tour guide from time to time. Once she was with a tour group and they came to Nevsky Prospect. Her tourists said to her, “How lovely it is here!” Lisa replied, “Are you kidding? Are you nuts? It’s awful here. Just look at how disgusting it all is!” She could see. They couldn’t.

VD: Were they foreigners?

DV: They were Russian students, young people. They were thrilled by the snow, the lights, Nevsky. . . . The tour continued. “Look to your right,” Lisa told them, “and to your left as well: all you see are shopping centers and expensive restaurants. It’s dirty here. And look at the unbelievable numbers of cars—can you smell the exhaust fumes? And there are some homeless people.” Within an hour several of the students felt quite horrible. Their virtual world had crumbled, the picture on the free advertising calendar had turned into a nightmare. It’s quite difficult to teach someone to perceive this space as disgusting. But I understand Liza: nausea is a philosophical practice. You have to practice a long time before you can comprehend it. **VD:** I agree with you: the moment of political enlightenment is very important. But disgust is a somatic sensation. Can you teach someone to feel it? Sure, you can teach various ways of analyzing space, you can show how its construction is rooted in the political. But will this lead to a disgust towards capitalism? Let’s think about exactly how *another* space begins. Here I agree with John Holloway: the scream lies at the beginning of any subjectivity. It can be a naive scream, a bloodcurdling scream, but it’s the scream that fills up this space. Can you teach people to scream? I think that we’re almost powerless here, and this is the fundamental problem: everyone has to get there themselves. Protest also begins at the somatic level: “I can’t take it anymore! I need air! I need space!” After this you have the psychological effect of a lonely cry being picked up by other people, and it’s only after this point has been reached that you can take this choir of voices and record it, organize it, rehearse it, reproduce it. But why is no one screaming? Is it that everyone’s satisfied, or has contemporary capitalism learned how to nip the cry in the bud?

DV: If we talk about “everyone,” then in Russia their screams are quite audible. People scream and shout at the authorities so that the latter will meet even a few of the obligations they’ve taken on themselves to maintain and improve public space. But the powers that be are busy with their own affairs; they can’t be bothered with dirty courtyards and stairwells. And this is what people are most worried about. When all their energy is wasted on such screams then nothing is left for more serious political action. The neutralization of the scream and the changes on the somatic level you talked about are also possible as outcomes of ideological conditioning. Biopolitics is a good example of this. Look what’s happening now: “Your armpits shouldn’t smell: it’s shameful! Your teeth will fall out if don’t chew sugar-free gum!” Why isn’t anyone screaming? Per Althusser, the ideological apparatuses—the same ones that power produces both intentionally and unconsciously—have done their work of repression. These apparatuses teach you how to view the world in such a way that you don’t notice your alienation; they train you to be a happy conformist and use the handy grab bag of opinions they give you. The result is that this absurd world appears natural. But is this world of weekend idiocy really so secure? Who knows, maybe a little boy will turn it upside down with the words “The king is naked”? Or maybe it will be a brilliant conspiracy, or an act of totalizing ridicule? Maybe none of these things can work today because capitalism is immune to commonsense criticism (read Slavoj •iek). When the gap between the self-presentation of power and what goes on in the real world has become so apparent then it’s worth returning to the time-tested ideas of that great theoretician and strategist of political struggle, Antonio Gramsci, or to dissident practices.

ДИССИДЕНТСТВО

ВД: Давай подумаем, из чего мы можем исходить в рамках нашей истории? Меня давно уже интригует опыт диссидентов. Парадоксальным образом, мы сейчас оказались в чём-то в очень схожей ситуации, когда политизируется не публичное пространство (эту стадию мы прошли в перестройку), а частное пространство жизни, хотя ясно, что они взаимосвязаны. Что такое наш активизм сегодня, будь то политический или же художественный? Это как бы первый шаг, может быть единственно возможный в ситуации новой нормализации, которая стремится к полному контролю. Репрессировать не проявление недовольства, а создать ситуацию, когда невозможно зарождение любых форм несогласия. Ну, как можно не соглашаться с капитализмом? Это ведь чуть ли не закон природы. К стати, у советского социализма была подобная логика “естественности”, так что это мы уже проходили. Однако, уже начиная с 60-ых, у всё большего количества советских людей стало закрадываться серьёзное сомнение в том, куда идёт страна и как она устроена. В тоже время, эти настроения переплетались с ощущением того, что власть, если говорить метафорически, это как погода: мы ведь не можем изменить погоду, но можем позаботиться о зонтике, можем застеклить лоджию, и тогда в холодном доме станет чуть теплей. Как выглядели попытки создания своего пространства в советское время? Поехать на дачу и слушать “Голос Америки”, повесить картины по стенам, созвать друзей и выпить вместе, ругая партию, выйти на пустырь с гитарой и бречать рок-н-ролл... Вот собственно и всё. Как ты оцениваешь, насколько сейчас есть массовое понимание того, что происходит что-то не то? **ДВ:** Мы начали с обсуждения единичных примеров захвата пространства, поэтому я не хотел бы говорить про “массы”. Но я чувствую, что есть сейчас в “массах” подозрение – “нас дурят!” С советского времени сохранилась опасная дихотомия “мы, внизу” и “они – те, кто наверху”. Нынешним властям досталось легко управляемое общество, но эта лёгкость скорее видимость. Общество хочет, чтобы его оставили в покое. Смотри-ка, почти латинская формула – “Власть дурит народ, народ дурит власть”. Пускай сейчас и пошёл процесс реставрации авторитарного строя, но ведь на дворе XXI век и, на новые, изощрённые механизмы подавления, можно, и нужно, отвечать не менее головоломными действиями. Педалируя позитивные следствия глобализации, нужно добиваться новых свобод, в первую очередь – свободы мысли. Свободное сознание позволяет действовать, выбирать своё будущее из многих возможных. Поэтому “диссидентство по-новому” – это “когнитивное диссидентство”. О когнитивных диссидентах почти ничего не известно – это название кабачка в одной из sag американского писателя Гибсона – отца киберпанка, но я думаю, что мы ими являемся, возвращая свободный и не нормализованный образ мысли. **ВД:** Есть много аналогий с диссидентами советского времени, но сегодня ситуация становится более запутанной – те практики протеста и их отражения в пространстве, которые мы сегодня пытаемся обсуждать, всё больше и больше переплетаются с миром капитала, альтернативных стилей, радикального шика... Всё меньше осознания того, что протест – это практика угнетенных, это различные проявления их борьбы за свои идеалы. Однако сегодня, когда принимаются всё более жесткие «анти-террористические» законы, уравнивающие любую анти-властную активность с терроризмом, любое покушение на монополию власти в физическом пространстве оказывается сопряженной с реальными опасностями для тех, кто это осуществляет. Проявлять себя как диссидента, как и в советское время, становится всё более рискованно, а это значит, что борьба становится более ответственной.

ЗОНДАЖ

ДВ: Всё новое начиналось с альтернативного квартала, или улицы – как английский панк на Kings Road начинался с магазина second-hand. “Гаражный рок” – предтеча политической музыкальной альтернативы в США – действительно зародился в гаражах. Увлекаясь дискуссиями, мы забываем про то, что для бунта нужна затравка – точка кристаллизации, и это не только социальная напряжённость, но и место. Знаешь, иногда я представляю себе кафе “Красный Ботаник”, я там стал бы работать барменом, за просто так. Если появится десятка два подобных кафе – “Зелёный Ботаник”, “Голубой Ботаник”, то есть шанс, что появится и молодёжный район. Не смотри на меня так, шучу. Прежде всего, мы должны спросить себя – что мы в действительности хотим? Так реализуются утопии. И метод определения этого – зондаж. Будем зондировать, будем пробовать утопии на вкус, а если получим по зубам, то будем знать, что идём в правильном направлении. **ВД:** Я совсем не согласен с твоей такой вот приятной схемой, как всё это может развиваться. Не спорю, мыслить и воображать всегда надо, это должно предшествовать действию. Сосредоточившись на повседневной жизни города, ты игнорируешь то, что вся западная алтернативная сцена формировалась через политику, и Россия не может быть исключением. Важно не просто ещё одно место, а точка роста и её интенции. Пространства должны захватываться с целью освобождения, а не для создания ещё одного альтернативно-комфортного способа времяпрепровождения, хотя для нашей ситуации и это серьёзный шаг вперед. Я не против политики малых дел – всему этому надо учиться. Но сейчас, в глобальном масштабе, угнетённым нужна своя стратегия, может быть им снова нужен Грамши? **ДВ:** ...или Грамши прочитанный через де Серто, который перечитал Фуко, Витгенштейна и Бурдьё, как в доме, который построил Джек. И многие другие, те, кто срывает маску с Господства, вновь открывая источники здравого смысла. Но это похоже на дурной сон – капитализм, меняясь, вновь и вновь пытается показать, что он единственно возможный и незыблемый порядок. Кажется, что в бунте нет смысла, потому что власть не имеет лица, всё заражено властью. Но это ведь не так?! Когнитивный диссонанс – это маленькое политическое сатори, состояние просветления. Когда видишь неразрешимое противоречие... Видишь? И становишься диссидентом.

Дмитрий Воробьёв, (род. 1974) - социолог, живёт в Петербурге
Дмитрий Виленский (род. 1964) - художник, член рабочей группы “Что делать?”,
живет в Петербурге

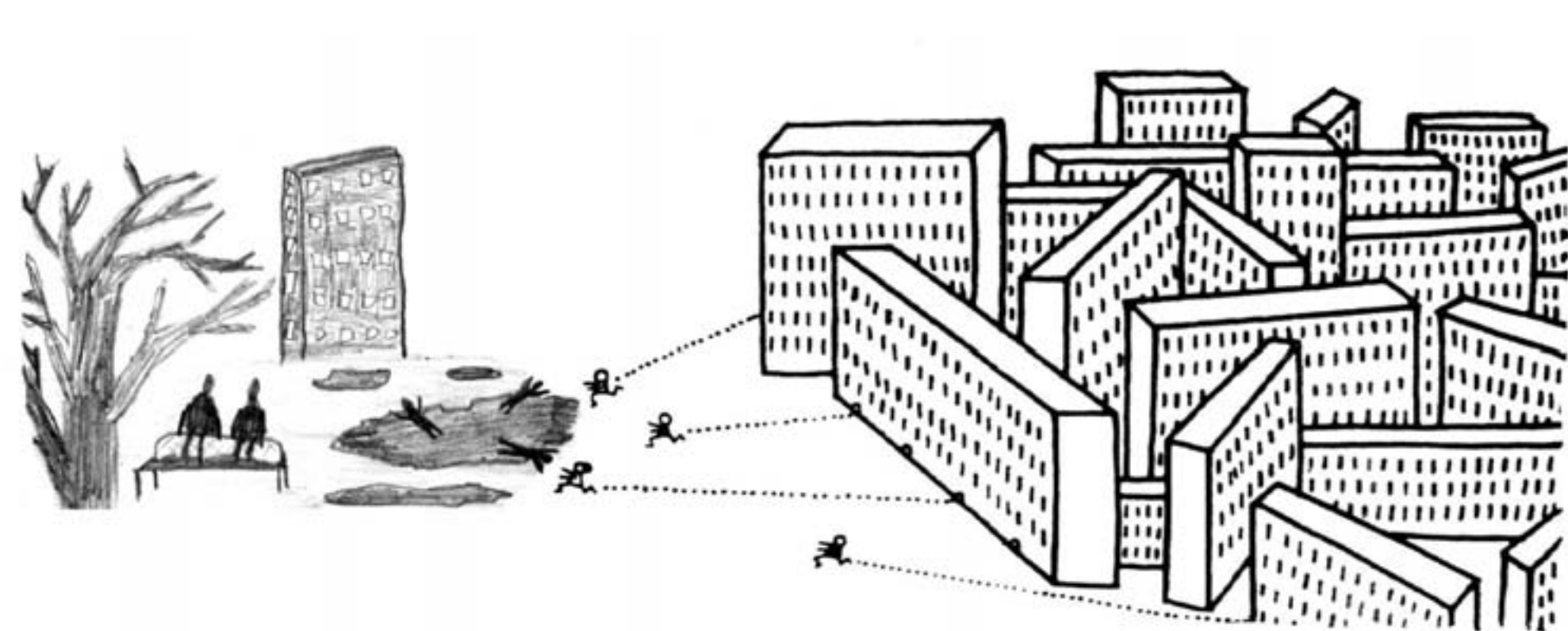
DISSIDENCE

VD: Let’s think about what parts of our history we can use as a base. I’ve long been intrigued by the experience of the dissidents. Paradoxically, we’re in quite similar situation right now: it’s not public space that’s being politicized (we went through that stage during perestroika), but private space, although it’s clear the two are interconnected. What does our activism today amount to, whether political or artistic? It’s a first step, as it were, maybe the only possible step in a new situation of normalization, one that aspires to total control. Power acts not to repress manifestations of discontent, but to create a situation in which even the glimmer of dissent is impossible. How can one not agree with capitalism? It’s almost a law of nature, after all. Soviet socialism had a similar logic of “naturalness,” so we’ve been through all this already. Beginning in the 60s, however, more and more Soviet people began to have serious doubts about where the country was headed and how it was run. On the other hand, these moods were intertwined with a sense that power, to use a simile, is like the weather. We can’t control the weather, after all, although we can make sure to carry an umbrella; we can enclose our balconies in glass so that our apartment is a bit warmer in winter. How did people attempt to create their own spaces during Soviet times? They’d go out to the dacha and listen to Voice of America. They’d hang cool pictures on their walls, invite their friends over, get drunk together and curse the Party. They’d grab a guitar and go to some empty lot to play a little rock and roll. . . . That’s about it. What’s your sense of the degree to which the masses understand that something’s wrong? **DV:** We started by discussing isolated examples of reclaiming space, so I’d rather not use the word “masses.” I do sense, though, that today “the masses” suspect they’re being hoodwinked. The dangerous dichotomy between “us, here on the bottom” and “those guys up top” has survived from Soviet times. Today’s powers that be have inherited a society that’s easy to control, but this ease is more appearance than reality. Society wants to be left in peace. It’s almost a Latin proverb: “Power plays tricks on the people, the people play tricks on power.” Although the process of restoring the authoritarian system is now underway, it’s the 21st century out there: one’s response to the new, refined mechanisms of repression should be no less paradoxical. One has to lean heavily on the positive outcomes of globalization and obtain new freedoms—first of all, the freedom to think. A free consciousness enables you to act, to choose your own future from a multitude of possibilities. That’s why the “new dissidence” is synonymous with “Cognitive dissidents”. Not much is known about cognitive dissidence—it’s the name of a bar in one of William Gibson’s cyberpunk sagas—but I think that we become cognitive dissidents by cultivating a free, non-normalized way of thinking. **VD:** There are lots of analogues with Soviet-era dissidents, but the situation today is more tangled. The protest practices and their spatial analogues we’ve been trying to discuss are more and more bound up with the world of capital, with alternative lifestyles and radical chic. . . . There’s less and less recognition of the fact that protest is a practice of the oppressed, that it’s a manifestation of the various ways they struggle to realize their ideals. When ever tougher “antiterrorism” laws are being passed that equate any form of anti-state activism with terrorism, however, any encroachment on power’s monopoly of physical space entails real danger for those doing the encroaching. Just as in Soviet times, to manifest one’s dissidence is becoming riskier, and that means that the stakes of the struggle are more serious.

SOUNDINGS

DV: All the new movements began with an alternative district or street. English punk rock was launched from a clothing shop on Kings Road. “Garage rock”—the forefather of the alternative musical scene in the US—really was hatched in people’s garages. We’ve been so caught up in discussions that we’ve forgotten that to have a rebellion you need some kind of primer, a node of crystallization. I don’t mean just social tension, but a place as well. You know, sometimes I imagine this cafe, the Red Nerd. I’d work as a bartender there, just for the heck of it. If a couple dozen such hangouts pop up—the Green Nerd, the Gay Nerd, etc.—then there’s a chance that a youth neighborhood will emerge. Don’t look at me that way: I’m kidding. First of all, we have to ask ourselves what we really want. That’s how utopias are born. And the method for testing them is called sounding. We’ll take soundings, we’ll see what the utopias taste like. If we get kicked in the teeth, then we’ll know we’re headed in the right direction. **VD:** I don’t at all agree with your fun little plan, with how you imagine it’ll all come together. I wouldn’t argue against the value of thinking and imagining: they always precede action. By concentrating on the everyday life of the city, you ignore the fact that the western alternative scene emerged via politics, and Russia can’t be an exception to this rule. It’s not just one more new place that’s important, but its potential for growth, the reasons for its being there. Spaces should be reclaimed in order to liberate them, not to create another comfy “alternative” leisure activity, although in our situation even this is a serious step forward. I’m not against the politics of small causes: you can learn something from it as well. But right now, at the global level, the oppressed need their own strategy. Maybe Gramsci is what they need again? **DV:** Or Gramsci read against de Certeau, who’s re-read Foucault, Wittgenstein, and Bourdieu, like the house that Jack built. And lots of other folks, the ones who unmask Domination by reopening the sources of commonsense. But this is like a bad dream: capitalism morphs constantly, it tries over and over again to show that it’s the only possible order, that it’s unshakeable. It’s as if there’s no point in rebelling because power doesn’t have a face: everything is infected by power. But this isn’t true, is it? Cognitive dissonance is like a minor political satori, a state of enlightenment. When you see the unresolvable contradiction—do you see it?—you become a dissident.

Dmitry Vorobjev (born 1974) - sociologist, lives in Petersburg
Dmitry Vilensky (born 1964) - artist, member of workgroup “Chto Delat?”,
lives in Petersburg



See from this perspective, dominant/dominated spaces, as imposed by the state upon its “subjects”, be they faithful or not, is simply the space, seemingly devoid of violence, a sort of *pax estatica* (or in the case of Western countries, a *pax capitalistica*) reminiscent of the Pax Romana. Though seemingly secured against any violence, abstract space is in fact inherently violent. The same goes for all spaces promising a similar security: residential suburbs, holiday homes, fake countrysides, and imitations of nature. The Marxist theory of the withering-away of the state gets a new lease on life when placed in the context of the following central insight: state management of space implies a logic of stability that is both destructive and self-destructive.

Henri Lefebvre, The Production of Space

Увиденные в этой перспективе, доминирующие/доминируемые пространства, как навязанные государством своим «подданным», верным или нет, суть просто пространство, по видимости лишенное насилия, своего рода *pax estatica* (или, в случае западных стран, *pax capitalistica*), напоминающий о Pax Romana (землях, замиренных римлянами). Хотя оно по видимости и защищено от любого насилия, в действительности абстрактное пространство по своему существу насильственно. То же относится и ко всем пространствам, обещающим подобную безопасность: спальные окраины, дома для семейного отдыха, искусственная сельская местность, имитации природы. Марксистская теория отмирания государства обретает новое дыхание, будучи помещена в контекст следующей центральной интуиции: государственное управление пространством предполагает логику стабильности, которая и разрушительна, и саморазрушительна.

Анри Лефевр, Производство Пространства

Публикация №12 - Идея и реализация: рабочая группа “Что делать?” | **publication №12** - idea and realisation: workgroup “What is to be done?”

редакторы | editors: Давид Рифф, Дмитрий Виленский | David Riff and Dmitry Vilensky

графика | Artwork and Layout: Дмитрий Виленский и Цапля | Dmitry Vilensky and Tsaplya

иллюстрации | illustrations: Григорий Ющенко - Д. Виленский | Grigory Jushenko - D.Vilensky

This publication was realized in a frame of the exhibition “Contested Spaces in Post-Soviet Art” at Sidney Mishkin Gallery, New York / 24.03. 2006 – 26.04.2006/

Thanks to: Trust for Mutual Understanding and Baruch College, City University of New York

This publication was realized in the framework of the “Documenta 12 Magazine” project

Состав рабочей группы “Что делать?”/// The members of the workgroup “Chto delat?”: Глюкля | Gluklya / А. Магун | A. Magun // Н. Олейников | N. Oleynikov // А. Пензин | A. Penzin // Д. Рифф | D. Riff // А. Скидан | A. Skidan // О. Тимофеева | O. Timofeeva /// Цапля | Tsaplya // К. Шувалов | K. Shuvalov /// Д. Виленский | D. Vilensky

Платформа «Что Делать?» - это коллективный проект, создающий пространство взаимодействия между теорией, искусством и активизмом и направленный на политизацию этих типов деятельности. Свою работу платформа осуществляет через сеть групповых инициатив в России и их диалоге с интернациональным контекстом. Деятельность платформы координируется одноименной рабочей группой.

Platform “Chto delat/What is to be done?” is a collective project. It opens a space between theory, art, and activism with the goal of politicizing of all three types of praxis. The platform’s activity consists in developing a network of collective initiatives in Russia and setting them into an international context. The platform is coordinated by a workgroup of the same name.

подробности на сайте | see more at www.chtodelat.org /// **contact:** info@chtodelat.org // dvilensky@yandex.ru